

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ISSN 0131-6044  
9 770131 604002

# РОМАН №9 ГАЗЕТА

**Виктор Слипенчук / Зинзивер**





## СЛИПЕНЧУК Виктор Трифонович

Поэт, прозаик, публицист. Автор книг «Свет времени», «Путешествие в Пустое место», «Чингис-Хан», «Тринадцатый подвиг Геракла», «Зигзаг», «Огонь молчания», «Зинзивер» и многих других. Родился в 1941 году в Приморском крае. Служил в армии, получил два высших образования. Двадцать три года прожил на Алтае, сменил несколько профессий: геологоразведчика, зоотехника, матроса, рыбоведа, строителя, журналиста. В 2009 году избран академиком Академии русской словесности. Произведения Виктора Слипенчука получили широкое международное признание — изданы во Вьетнаме, Китае, Монголии, Сербии, Франции и Японии. Роман «Зинзивер» переведён на французский и китайский языки. Его можно отнести к жанру исторического романа — в нём описан переломный момент в политической и социальной жизни России. Калейдоскоп пейзажей, бытовых примет и житейских ситуаций создаёт объёмную картину новой России, которую автор во многом сумел предвосхитить. Вместе с тем «Зинзивер» — глубоко лирический роман об искренней любви поэта, об истинном предназначении творчества, о трагическом сплетении характеров и судеб. В нём фантастичность грёз иногда реальнее яви, а явь похожа на абсурдный сон.



# Правофланговые. Без купюр

**В**есна 2024 года. Столетие двух выдающихся писателей-фронтовиков. Двух великих мужей русской прозы XX века. Юрий Васильевич БОНДАРЕВ (15 марта 1924 — 29 марта 2020) и Виктор Петрович АСТАФЬЕВ (1 мая 1924 — 29 ноября 2001). Память о десятилетиях сотрудничества с ними живёт в воспоминаниях наших редакторов и художников-иллюстраторов. Выпуски с их произведениями на «золотой полке» журнала «Роман-газета».

В не такие уж и далёкие времена в фондах практически всех библиотек страны, при миллионных тиражах, вся проза и Астафьева, и Бондарева была представлена «Роман-газетой» в полном, авторском, варианте. Подчёркиваю: именно в нашем журнале публикации самых «острых» и дискуссионных произведений шли без купюр!

К радости нашей, некоторые библиотеки до сих пор хранят старые подписки «РГ». Напомним самым преданным читателям, когда и что мы публиковали.

### АСТАФЬЕВ В.П.

- «Последний поклон»: № 2-1971, № 2, 3-1979
- «Царь-рыба»: № 5-1977
- «Печальный детектив»: № 5-1987
- «Людочка» (Сборник): № 4-1991
- «Прокляты и убиты»: № 3-1994, № 18-1995
- «Весёлый солдат»: № 6-1999
- «Ясным ли днём...» (Повести и рассказы): № 16-2000
- «Затеси»: № 5-2002
- «Пролётный гусь» (Сборник неопубликованного): № 7-2005
- «Тревожный сон»: № 9-2010.

### БОНДАРЕВ В.П.

- «Последние залпы»: № 17-1959
- «Тишина»: № 2-1963
- «Горячий снег»: № 4, 5-1970
- «Берег»: № 23, 24-1975
- «Выбор»: № 8-1981
- «Игра»: № 2-1986
- «Искушение»: № 13, 14-1992
- «Всё о нём»: № 10-1995
- «Непротивление»: № 14-1995, № 15-1996
- «Бермудский треугольник»: № 3-2000
- «Мгновения»: № 20-1978, № 20-1997, № 19-2001.

*Окончание см. на 3 стр. обложки.*



# Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

**Учредитель и издатель**  
ООО «Роман-газета»

**Главный редактор**  
Юрий Козлов

**Редакционная  
коллегия:**  
Дмитрий Белюкин  
Алексей Варламов  
Анатолий Заболоцкий  
Владимир Личутин  
Юрий Поляков

**Ответственный  
редактор**  
Елена Русакова

Права  
на использование  
товарного знака  
«Роман-газета»  
принадлежат  
ООО «Роман-газета»  
© ООО «Роман-газета», 2024  
Все права защищены  
Журнал зарегистрирован  
в Министерстве связи  
и массовых коммуникаций РФ.  
Свидетельство о регистрации  
ПИ № ФС77-68350  
от 30.12.2016 г.

Подписаться  
на журнал «Роман-газета»  
можно в отделениях связи  
и через Интернет:  
roman-gazeta-1927@yandex.ru

**Подписные  
индексы издания:**

в объединенном  
каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может  
не совпадать с позицией  
редакции

**2024 №9** /1950/ Основана в 1927 г.

Виктор Слипечук

## Зинзивер

Роман

*И, увидев, фарисеи говорили ученикам Его: почему Учитель ваш ест с мытарями и грешниками? Услышав же это, Он сказал им: не здоровым нужен врач, а болящим.*

От Матфея. 9, 11–12

*Приближались же к Нему все мытари и грешники слушать Его. И роптали фарисеи и книжники, говоря: Он принимает грешников и ест с ними.*

От Луки. 15. 1–2

*И ответил во второй раз голос с неба: «что Бог очистил, ты не объявляй нечистым».*

Деяния апостолов. 11.9.

*Крылышкуя золотописьмом  
Тончайших жил...*

Велимир Хлебников

...Я закрыл глаза и услышал сквозь всхлипы мамино причитание — она подумала, что я опять брежу. Я не бредил... Но чтобы не пугать её, уткнулся в цветок и тут же уснул, то есть как бы растаял в благоухании сада. Сколько спал — не знаю. Когда очнулся, всё так же лежал, уткнувшись в цветок, от которого всё так же веяло майским садом.

Я привстал. В окнах пылала такая необыкновенная заря, что подумалось: окна раскрыты настежь, и я в беленьком домике, и это из волшебного сада веет ароматом роз. И действительно, я вдруг увидел аккуратный беленький домик, дорожки, покрытые розовым гравием, низкий штaketник с ниспадающими на него кустами цветущих роз и приближающиеся легкие переборы гармошки.

Тысячелетие и миг.  
Песчинка и планета.  
Во всём проявлен Божий лик.  
Во всём дыханье света.

Я оглянулся. Я предполагал, что увижу отца или маму, но я увидел её. Она была в белых туфлях и платье в золотой горошек, в котором выглядела точь-в-точь как школьница. Она улыбалась мне и звала, звала...

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### Глава 1

Однажды глубокой февральской ночью (я всегда писал свои стихи и пьесы ночью, а днем отсыпался) мною овладело тягостное уныние. Причиной стали галлюцинации, которые поначалу как-то даже забавляли, скрашивали мою монотонную одинокую жизнь. Засмотришься на пожелтевшую, потрескавшуюся от времени столешницу, и вдруг как бы из её недр, словно на скатерти-самобранке, является взору столовский поднос, уставленный большими тарелками с горячими блюдами. Тут тебе и домашние щи, и дымящаяся в томатном соусе баранина, и кофе со сливками. Причем всё настолько живо, что в шах можно было рассмотреть, и я рассматривал, плавающие колечки поджаренного лука, а на баранине — сочную зелень молодой петрушки. (Согласитесь, превесьма соблазнительные иллюзии для человека, денно и ночью голодающего не по прихоти, а по беспросветности...)

Созерцая столь великолепные подарки воображения, как правило, за полночь, постепенно стал подготавливаться к ним. То есть на то место, на котором чаще всего взор мой обесмысливался и цепенел, я ещё до полуночи клал ложку, вилку, столовый нож и ставил какую-нибудь пустую бутылку из-под боржоми. Графинчик и рюмочку — не ставил. (Такое роскошество позволил лишь раз, на день рождения, а наутро ужасно сожалел — голова буквально раскалывалась, а желудок схватывали такие спазмы, какие обычно случаются после страшного перепоя.)

В общем, подготавливался с воздержанностью, чтобы потом не сожалеть, и в то же время, чтобы чувствовать себя достаточно свободным в выборе как меню, так и музыкального оформления, каким он оснащался.

Что это такое — свободный выбор... и музыкальное оформление? Это — песня! Да-да, песня, потому что в результате подбора и сочетания, казалось бы, простых кухонных предметов я, подобно профессору магии, в конце концов овладел искусством вызывания почти предсказуемых галлюцинаций.

Конечно, я испытал множество вариантов и вариаций, прежде чем остановился на определённых, наиболее соответствующих моим наклонностям. В силу своей профессии я не люблю шумных компаний, в них всегда присутствует не то чтобы разнузданность, но какая-то внутренняя разухабистость. Чаще всего я выбирал отдельный кабинет, стол, накрытый белоснежной скатертью, два серебряных прибора и скрипача в черном фраке и цилиндре. Откровенно говоря, скрипач меня развлекал не столько музыкой, сколько своим поведением. Играя полонез Огиньского, он всегда так преувеличенно выпячивал грудь, так наступал на соседа по столу, что тот вынужден был раз за разом уклоняться вбок, чтобы не пролить из ложки. Но и здесь вёрткий музы-

кант не терялся, ловко обегал его и уже с другой стороны наседавал на беднягу.

В конце концов сосед откладывал ложку, доставал из нагрудного кармана розовый шёлковый платочек и, прикладывая к глазам, растроганно повторял:

— Не могу, не могу, чтобы так душещипательно!

Чуть-чуть сменив угол зрения, я отдалял скрипача в центр зала, и сосед, опасливо оглядываясь, опять брался за ложку.

— Не могу, не могу, чтобы так... — продолжал он бубнить над ухом, но я не отзывался.

Чтобы не нарушать подконтрольность галлюцинации, я всегда вынужден был действовать в строго очерченных рамках. Наверное, покажется странным, но лиц соседа, скрипача и официанта я никогда не видел. И в то же время совершенно точно знал, что мой сосед — пожилой чопорный англичанин, интеллигентный и весьма, весьма денежный. (Он иногда уходил из-за стола раньше меня, и я собственными глазами видел, какие крупные чаевые в долларах он оставлял.)

Официант, конечно, был сделан в СССР. И вовсе не потому, что я помнил штамп завода-изготовителя на алюминиевой чашечке абажура. В глаза бросалась лакейская услужливость перед иностранцами, свойственная тем достопамятным временам. Долговязый и неуклюжий, в знак высочайшей почтительности он, изгибаясь в поклоне, нависал над столом так, словно хотел поцеловать англичанина непосредственно в макушку. Пренеприятнейшая услужливость, даже сейчас слышится его паточно-приторный голосок: товарищочки, чего изволим-с?!

О скрипаче ничего не скажу, но подозреваю, что вместе с официантом они делили чаевые и, очевидно, как глава предприятия официант брал больше. Во всяком случае, однажды я стал свидетелем красноречивого диалога:

— Позвольте-позвольте, а где мои — за двойной полонезик?!

— Не знаю, не знаю, Гога-товарищок, все у вас. (Сладостно-ядовитое.) Поищите в дырочке под подкладочкой.

— Но позвольте, как же-с, ведь был двойной полонезик?! (Начальственно-сердитое.)

— Дак хоть бы и тройной!.. А за инструмент?! (Назидательно-наставительное.) Не забывай, Гога-товарищок, что на такую Стради мигом сыщу нового музыкантика...

Отдельный кабинет меня устраивал ещё и потому, что я овладел искусством не только раздвигать его стены, но и перемещаться вместе с ним, словно в машине времени. Находясь в кабинете и оставаясь невидимым для окружающих, я мог присутствовать на любой пирушке и даже свадьбе. Особенно я любил — нашу с Розочкой.

В большинстве это происходило так: в момент дружного скандирования «горько!», явственно слышимого как бы из соседней комнаты, я сосредоточи-

вался и всеми своими фибрами желал очутиться там... Лёгкое усилие воли, именно лёгкое, — и, точно по мановению волшебной палочки, стена, находящаяся у меня по правую руку и соответственно прямо напротив англичанина, активно выцветала, будто выедалась какими-то мигающими песчинками. Наконец она утончалась настолько, что через неё, словно через кисею, начинали проступать очертания неестественно длинного стола, занимающего почти весь зал, тесно усаженных за ним гостей и в самом дальнем конце — белоснежное кружево с радостно светящимся личиком, воздушно теплящимся, точно свечечка.

Но вот кисея спадала, левое плечо англичанина вздрагивало (это особенно хорошо было видно по розовому платочку, выглядывающему из нагрудного кармана), и я вдруг ощущал, как вся моя жизненная сила переливается в англичанина как раз через этот нагрудный карман. Странное дело, но я откуда-то знал, что, перелившись в англичанина, не исчезну, а лишь в его внешности предстану перед окружающими своеобразным свадебным генералом.

Так и случалось. Поправляя платочек и тем самым осваивая его смокинг, я обнаруживал в правом, внутреннем, кармане увесистое портмоне, туго набитое, как ныне говорят, «зелёными», а в левом, нижнем, врезанном едва ли не в самый край подкладки, старинные золотые часы на огненно вспыхивающей цепочке, украшенной бриллиантами. На глухом футляре, а именно на открывающейся крышечке, инкрустированной перламутром, виднелись выгравированные латинские литеры SVT. Кстати, их я тоже сразу освоил и прочитывал на русском не иначе как «сват», что придавало моему присутствию на свадьбе некую дополнительную естественность. Словом, почувствовав себя англичанином и при деньгах (в скобках заметим, на своей свадьбе, на своей!), я ощущал в удовольствии приобретённую вдруг старческую медлительность и чопорность, с которой доставал золотые часы, а достав, привлекал к себе всеобщее внимание мелодичным звоном, которым непременно сопровождалось открывание инкрустированной крышечки. Медлительность и чопорность были мне хороши ещё и тем, что позволяли вполне незаметно оглядеться и, в строго очерченных рамках, сделать свой первый и, главное, правильный ход.

Глядя на циферблат, я замечал боковым зрением, как моё физическое, материальное «я» бесследно исчезало, испарялось, а мой кабинетный стол, накрытый белой скатертью, срастался с неестественно длинным свадебным, за которым все лица, повернутые ко мне, выражали почтительное и вместе с тем веселое внимание.

Здесь я позволял себе несколько покичиться (эх, годы, годы!). Едва не опрокинув фужер, расплескивал боржоми, с трудом вставал, чтобы произнести тост за здоровье и счастье молодых. Невольно пристыженные моей старческой беспомощностью, следом, как по команде, вскакивали не только гости, но

и жених, и невеста. Пригубив фужер с водою, я начинал речь. Не знаю, была ли она достаточно короткой, чтобы выслушивать её стоя, но выслушивали. За время тоста я умудрялся сообщить, что нахожусь на свадьбе не случайно, а по протекции или, проще сказать, по просьбе родителей виновников столь торжественного события, которые в силу обстоятельств не смогли приехать и поручили мне передать их святое благословение.

(Тут я, хотя и не распространялся, давал понять, что матушка жениха, одинокая, забытая страной пенсионерка, живет очень далеко, где-то под Барнаулом. А родители невесты, беженцы-погорельцы, живут ещё дальше, где-то под Манчестером, с ними я, в прошлом белый офицер-эмигрант, там, в русском посольстве, и познакомился).

Затем, осенив широким крестом молодых, я выражал искреннюю надежду, как бы только что привезенную из Англии, в том, что доченька, студентка второго курса медучилища, несмотря на замужество, всё же успешно закончит учебное заведение. А сыночек (я добавлял от себя) не ударит в грязь лицом и достойно сдаст выпускные экзамены в Литинституте и уже в ближайшие годы своими бессмертными творениями войдёт в золотую сокровищницу мировой литературы.

Закончив речь, я допивал боржоми — и тут происходило чудо. Да-да, чудо! И всегда в одном и том же эпизоде: как только я допивал воду, но ещё не успевал поставить фужер, кто-то (непонятно кто, но голосом точь-в-точь матушкиным) громко и весело сообщал: чёй-то питие горькое?!

О, что тут начиналось! Свадьба взрывалась дружным требованием, и жених, преодолев смущение, привлекал к себе невесту с таким волнением, что я невольно опускал глаза, чувствуя беспомощность его страсти.

Стараясь не мешать ему и всё же не менее его взволнованный этими незабываемыми минутами, я доставал туго набитое купюрами портмоне и совершенно по-джентльменски просил от имени родителей передать невесте её приданое.

Не буду рассказывать, как, сложенный на левую сторону, то есть кармашками с долларами наружу, из рук в руки плыл над головами увесистый заграничный бумажник. Я не смотрел на него. Было бы неприличным для интеллигентного русского, воспитанного в Англии, оберегать его цепким взглядом. Я и так внезапно обострившимся слухом, помимо воли, улавливал его прерывисто-волнообразную траекторию. И немудрено, при одном приближении кошелька веселый говор стихал, уступал место восхищённому молчанию.

Я не реагировал. Вновь доставал часы и, пользуясь своей почтенной медлительностью, словно маскхалатом, открывал их ровно в ту секунду, в какую невеста получала приданое. Попадание было архиважным, я не хотел видеть и не желал, чтобы

другие видели, каким образом и куда Розочка спрячет бумажник. Мелодичный звон часов, как правило, отвлекал всех от этого пикантного действия.

Впрочем, не буду лукавить — не всегда всё получалось в строгом соответствии с расчётом. Иногда вдруг (прошу прощения, но сбои происходят вдруг) посередине стола, а может чуть дальше, внезапно раздавался стеснённо-сиплый, пронзающий тишину голос:

— Готов поспорить с кем угодно, там этих «джорджиков» тысяч на десять!

Как после этого было не растеряться, не выломиться из строго очерченных рамок?! «Джорджики»?! Какой ты англичанин, если приданое привёз из Манчестера не в фунтах стерлингов, а в долларах?! В самом деле, при чём тут доллары?! Воистину всё в чисто русском ключе — непобедимый на поле брани богатырь в конце концов заканчивает свой жизненный путь либо постригом в монахи, либо, поскользнувшись на ровном месте, разбивает голову о валуна-камень.

А между тем, чувствуя себя голым королём, по собственному недомыслию разоблаченным, я принужден был продолжать игру — доставать часы, открывать инкрустированную крышечку, то есть по устоявшемуся сценарию владеть общим вниманием.

И я владел. Под мелодичный звон часов, не ожидая ничего, кроме осуждения и брезгливости, я вдруг (да-да, опять вдруг) награждался дружным ликованием. Да-да, ликованием застолья, оно непонятным образом объясняло моё родство с английской королевой, которое по скромности я якобы утаивал, но которое, слава богу, благодаря баснословному приданому, весьма удачно для всех разъяснилось.

Это было так поразительно, так неправдоподобно, но я всё равно был счастлив, воистину счастлив...

## Глава 2

Возвращение в конуру всегда было тягостным, особенно после свадьбы. И вовсе не потому, что резче обычного бросались в глаза нищета и убогость обстановки. Виной были переживания, связанные с Розочкой. После встречи с нею одиночество и безысходность овладевали с такой силой, словно она ушла только что.

А обстановка, увы, даже нравилась.

Кухонный стол, он же письменный и он же хозяйственный — в некотором роде верстак для починки домашней утвари.

Над столом — уже известная лампа с чашечкой абажура, прикрученная проволокой к стояку батареи.

Кухонная табуретка, она же — рабочее кабинетное кресло.

Невероятной ширины спальная кровать без пружин — из-под матраса выглядывало довольно обширное поле теннисного стола, которое попутно служило оригинальной лавкой. (Во всяком случае,

всякий, кто усаживался на неё, не обходился без комплимента: оригинально, очень оригинально-с!)

Сразу за входной дверью, в левом углу, — стопки книг и кипы рукописей, перетянутых и не перетянутых шпагатом, лежащих на полу развалами, прислонёнными к боковой стене. Здесь же, поверх книг и рукописей, моё демисезонное пальто, напоминающее крылатку, пошитое в пору гайдаровских реформ из общежитского байкового одеяла и названное «семисезонным шоковым». (В самом деле, появляясь в нём на улице, я шокировал всех прохожих. Мало того, что останавливались как вкопанные, ещё и растерянно провожали взглядом, точно какого-нибудь южноафриканского страуса.) Вместе с крылаткой лежала и другая одежда и одежонка. В общем, и её, и книги, и всякие там рукописи я содержал как бы в шкафу, под аккуратно накинутой на них простынею.

Ничего другого из мебели не было, да и не могло быть. То есть когда-то было, но Розочка увезла. И правильно! Зачем мне холодильник, что в нём держать? Телевизор — опять вопрос, потому что и без него могу смотреть «До и после полуночи». Платяной шкаф тоже не нужен. А уж книжный — и подавно, оставшие и надорванные обои гораздо удобнее любого шкафа и любой этажерки. Я засовывал под них не только газеты, журналы и книги, но и всякие другие вещи, которые каждую минуту могли понадобиться. Для меня стало правилом: в быту — никаких излишеств. Итак, благодаря многоцелевому назначению предметов порой казалось, что роскошествую и в своем обиходе вполне бы мог обойтись меньшим. Тот же старинный уют на рукописи, раскрытый, точно пасть крокодила. Судя по застарелым окуркам, карандашам и ручкам, торчащим из него, смело можно было заключить, что он многоцелевой: и тебе пресс-папье, и пепельница, и письменный прибор, и конечно же, если доведётся, грозное оружие самообороны. И это при всём при том, что хотя и редко, но всё же случалось его использовать по назначению.

Словом, никакой нищеты и тем более убогости не чувствовал. Иногда, правда, уж очень хотелось есть. Кажется, так бы и закричал: е-есть, е-есть! Так бы и побежал куда глаза глядят в своей крылатке. Но я научился управлять собой. Ещё будучи студентом, провел эксперимент — ровно тридцать дней жил практически на одной солёной воде. Я мог бы голодать и дольше, но слух обо мне настолько растревожил общежитие, что не стало житья от любопытствующих. Вместо занятий они набивались в комнату и раз за разом будили меня, чтобы удостовериться, помер я или нет. Сам руководитель нашего семинара посетил меня. Во мне обнаружили способности к внушению и самовнушению... Впрочем, это отдельная тема, а сейчас, изредка голодая, я получал с этого кое-какие дивиденды в виде «горячих шей и баранины с петрушкой», что помогало мне не падать духом и писать, писать свои стихи и пьесы. Я был уверен, что однажды общество заинтересуется: чего

это он, взаперти, всё пишет и пишет? Кстати, писать и верить — это основной принцип писателя.

Первый сокрушительный удар по основному принципу нанесла Розочка — она ушла... Почему?! Ничего не сказала, не предупредила, приехала на грузовой машине с двумя горцами (мне потом рассказывали, хотя я и затыкал уши) и увезла всё подчистую. (Оставила лишь стол, рукописи и книги, которые, очевидно в спешке, свалила за дверь.) Куда она уехала, зачем? Непостижимо! На столе была записка: «Не ищи — не найдешь, я сменила паспорт и фамилию».

Это было до того странным, до того непонятным — как так, просто взяла и сменила?! Для чего? Тем более что всего месяц назад на предложение судьбы — «прежде чем решаться на шаг расторжения, следует хорошо подумать» — Розочка ответила за нас обоих: хорошо, подумаем.

И вот?! Непостижимо!..

Возвратившись в свою конуру, я припоминал подробности нашей совместной жизни.

Студенческая свадьба в молодёжном кафе. Мои успешные госэкзамены. Её академический отпуск (через писательскую поликлинику я достал ей необходимое заключение врачей — после Чернобыля были подозрения). Весёлый и шумный отъезд в нынешний провинциальный городок. Моё трудоустройство литконсультантом в областной комсомольско-молодёжной газете. (Должность блатная, полученная мною по ходатайству Литинститута. Да-да, на меня возлагали надежды, но не буду отвлекаться.)

Мы получили комнату в общежитии телевизионного завода (пусть на конечной остановке автобуса, пусть не очень просторную, но светлую) — у нас появилась крыша. Как бы там ни было, а первое время мы жили великолепно. Конечно, моей зарплаты не хватало, но не зря говорится, что с милой рай и в шалаше. Тем более я писал тогда круглосуточно, и мы надеялись, что настанет день и мои пьесы пойдут сразу веером, на нескольких сценах. Однажды к нам приходил даже главреж местного драмтеатра, просил меня поправить пьесу одного маститого московского драматурга, которую он собирался ставить, но почему-то не поставил, хотя необходимые поправки я сделал и даже получил сто рублей — деньги по тем временам для нас неслыханные.

О, мы замечательно жили! Розочка целыми днями спала, а я писал и писал. Я верил. Я посвящал ей буквально все свои стихи и пьесы, и она находила их в некотором смысле гениальными. Потягиваясь, волшебным выгнув свою безукоризненную фигурку, она спрашивала:

«Есть ли у нас поесть?»

Открывала дверку холодильника. Я чувствовал себя ужасно глупо, но она успокаивала:

«Нет хлеба единого, так что ж?...»

Розочка намекала: не хлебом единым жив человек. Захлопнув дверку, брала с холодильника «Родопи», закуривала и опять ложилась в постель, готовая слушать мои стихи и отрывки из пьес. И я читал, на мой взгляд, наиболее удачные, поэтому несколько не удивлялся, когда она вдруг, всплакнув, говорила:

«Ты знаешь, Митя, в некотором смысле это гениально, но я не заслуживаю, не заслуживаю от тебя даже корочки хлеба!»

Я бежал по длинному коридору общежития в надежде занять у кого-нибудь хоть немного денег. Иногда этот процесс затягивался на целый день. Под видом неотложных дел (я вел литературное объединение раз в неделю) приходилось появляться в редакции и исподволь присматриваться к окружающим, чтобы неосторожным словом не вспугнуть беспечного кредитора.

Заняв крупную сумму (как правило, маленькую мне не одалживали), я исчезал в неизвестном направлении. То есть направление я обозначал в объявлении: «В связи с отъездом в командировку (работа в архиве) литобъединение переносится на последний четверг месяца».

Надо отметить, что мои частые отъезды в архив создали вокруг меня ореол весьма серьезного и умного литератора.

На самом деле быстрым и уверенным шагом я направлялся в ближайший продовольственный и закупал всё необходимое, чтобы вместе с Розочкой отпраздновать мои в некотором смысле гениальные произведения. Понимая, что мне одолжили, быть может, в последний раз, — не скупился. Брал несколько бутылок водки и столько же — вермута (Розочка любила крепленые вина). Закуску выбирал тоже отменную и только потом уже вместе со всей этой снедью ехал домой радостный и счастливый, в предвкушении нашего царского пиршества.

О, как замечательно мы жили! Впоследствии, благодаря Розочкиной изобретательности, у нас почти не переводились деньги. Она подсказала мне одалживаться не в редакции, а у членов литературного объединения и долги не отдавать. То есть отдавать иным способом, так сказать, устным рецензированием, причём хвалить автора не в зависимости от литературных достоинств его произведений, а в зависимости от одолженной суммы. Поначалу это было ужасно, что-то наподобие квашеной капусты с трюфелями. Наверное, я бы никогда не преодолел себя, если бы не образ Розочки. К счастью, в особенно роковые минуты её милое личико, полное укоризны, вдруг вставало перед глазами и как бы отгораживало меня от моей же собственной низости. Более того, когда приходилось брать в долг у безнадёжного графомана, мной овладевало какое-то смешанное чувство садизма и мазохизма. Пряча деньги, я заговорщицки подмигивал кредитору и, панибратски похлопав по плечу, без обиняков рекомендовал его своей литературной элите:

«Присмотритесь, новый Лермонтов!»

Относительно «элиты» я не оговорился, у меня так бойко пошло дело, что вскоре я заведовал самым именитым литобъединением в мире: новый Островский, новый Тютчев, новый Чехов, новый Блок... Каждый следующий «новый» определялся прежде всего по возрасту и полу, а потом уже по жанру представленных произведений. Среди поэтесс были не редкостью новая Ахматова, новая Цветаева, новая Вероника Тушнова, новая Сильва Капутикян. Когда литобъединение покинули все более-менее способные авторы, я совсем распоясался. Через старосту литактива, как одного из наиболее «безнадежных», внедрил в умы начинающих литераторов что-то в виде тарифной сетки. Если начинающий прозаик, допустим, одалживал мне половину своего месячного заработка, то он мог претендовать только на нового Герцена или Чернышевского. Если же отдавал всю зарплату, то тут я уже не сомневался, что передо мной собственной персоной либо Федор Михайлович Достоевский, либо сам граф Лев Николаевич. Не буду объяснять всех нюансов сетки, скажу лишь, что за точку отсчёта брался семнадцатый век, а дальше расценки шли по нарастающей. По особенно крутому номиналу оценивались именитые писатели из ныне здравствующих.

«Пока они живы — их можно превзойти, — не раз в своё оправдание говаривал я тому или иному автору. Причём не делал исключений даже для нобелевских лауреатов. — Время у тебя есть, постарайся — превзойдешь», — нагло заявлял я, читая в глазах притязателя искреннее одобрение и даже признательность за свои слова.

В общем, мое предприятие пошло так гладко, что накануне критического анализа произведений начинающие авторы сами подходили ко мне и напрямую давали «в долг» в расчете на Есенина или Маяковского. Вначале я ещё удивленно скидывал брови, изображал на лице недоумение и даже оскорбление, но быстро понял, что без церемоний оно надежнее. Единственное, что смущало, в связи с новыми политическими веяниями многие мои Белинские, Чернышевские, ранние Достоевские и Герцены кинулись в какие-то демонстрации, несанкционированные митинги протеста, экологические шествия. Чтобы удержать оставшихся литобъединенцев, я иронизировал над ушедшими, клеймил их дезертирами, попами-расстригами, предупреждал, что политика — камень на шее литературы, но всё впустую, ряды кредиторов катастрофически редели.

Вновь началось безденежье, а с ним и вынужденный Великий пост, тем более ужасный, что мы уже вкусили сладостных греховных плодов. Чтобы не показывать свою беспомощность перед обстоятельствами, я опять писал. Писал день и ночь по-чеховски, в том смысле, что пока не сломаю пальцы. Розочка стала искать работу, я не смел отговаривать, а только с ещё большим рвением посвящал ей всё

много написанное. В дни заседаний литкружка, не дождавшись её, я оставлял ей записки, полные любви: «Милая Розочка, сто раз целую!», «Розочка, целую нежные кончики твоих пальцев!», «О, лучший аромат неба, целую-целую Тебя всю-всю!» Я писал свои записки крупно, на форматной лощёной бумаге и расклеивал по всей комнате. Всюду-всюду можно было наткнуться на мои записки: на стене, на экране телевизора, в платяном шкафу и даже в морозилке холодильника.

Однажды она вернулась особенно уставшей и бледной. Машинально открыла пустой холодильник. Как сейчас помню, оттуда выпорхнула моя записка: «О, лучший аромат неба, целую-целую Тебя всю-всю!» Не буду лгать, меня резанули кощунственность и беспросветность ситуации. Не зная, что сказать, я спросил, ела ли она? В ответ, едва не задохнувшись от негодования, она крикнула, что сыта по горло! И, не раздеваясь, легла на кровать, отвернувшись к стене.

В тот день Розочка потребовала развод и повела меня в нарсуд. Чувствуя себя виновным и оттого несчастным вдвойне, я был согласен на всё. Именно с того дня, по её настоянию, я стал называть её Розарией Федоровной, а она меня — физическим лицом Слёзкиным. Кроме того, Розочка строго-настрого запретила мне читать мои пьесы вслух и тем более ей.

В ту злополучную ночь я впервые спал в углу на своих рукописях. И самое странное, спал как убитый. Проснулся поздно, и не от какого-то там шума — от собственного смеха.

Перед самым пробуждением мне приснился уж очень весёлый сон. Запомнилось, что я нахожусь на очередном заседании нашего литературного объединения, но вместо отпетых бездарей тесным кругом стоят выдающиеся писатели всех времен и народов (что-то схожее с собранием Библиотеки мировой классики, так сказать, живьём). Вот Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Тургенев... Из иностранцев: Сервантес, Шекспир, Данте, Гёте... Больше, конечно, писателей, которых впервые вижу, но все они, подлинные знаменитости, стоят плечом к плечу и напоминают мне как бы кольца древесного круга. Я всматриваюсь в лица — Шолохов, Есенин, Шукшин и почему-то между Фолкнером и Хемингуэем — Горький. Ну, в общем, всё как во сне. А я, Митя Слёзкин, в центре этого плотного многоярусного кольца: в чёрном цилиндре, байковой крылатке с тремя поперечными полосами по плечам (тогда её у меня не было, а вот однако ж...), в лаковых туфлях на очень высоких каблуках и в руке у меня — батистовый платочек. Я приготовился петь частушки с приплясом и ищу глазами Михаила Афанасьевича Булгакова, который должен быть непременно с моноклем в правом глазу. Я ищу его в поддержку себе — плясать и петь частушки в столь серьёзном кругу без поддержки как-то боязно. (Почему я был уверен в его поддержке, надеюсь, понятно!\*) И вот вместо Михаила Афа-



насевича натыкаюсь взглядом на Льва Николаевича. Взгляд у него свирепый, глаза горят — бог Саваоф, а в руках — розги. Я на полуслове онемел, потому что знаю, что сейчас принародно за каждое неправильно употребленное мною слово получу сто розог. Всё — конец представлению!.. И вдруг догадываюсь, что собрание классиков всех времен и народов ненастоящее, что все они ряженные мною члены нашего литературного объединения. Радость тут охватила меня — великая. Как давай я петь, как давай отбивать каблуками, а частушки все с картинками и после каждого куплета — рефреном: «Я пришёл экологом, а уйду пахеном. Ой-ли, ой-люли. А уйду пахеном!»

С этим на уме, смеясь, и проснулся. Проснулся и тут же всё вспомнил. А вспомнив, аж похолодел от страха не хуже, чем перед розгами, — Господи, что за белиберда, что подумает Розочка?! К счастью, её уже не было, она ушла искать работу.

Наскоро привёл себя в порядок (я спал на рукописях одетым), отправился в редакцию.

Признаюсь, о завтраке я и не подумал, и не потому, что всё равно ничего не было, дело в том, что в присутствии Розочки я не испытывал потребности в пище — никогда. В самом деле, вдумайтесь: Розочка и корка хлеба во рту — ужасно, невыносимо! Даже сейчас, когда я уже совершенно другой, нахожу, что тот Я или Он по большому счёту был прав. Во всяком случае, его мысли и действия заслуживали если не оправданий, то хотя бы снисхождения. Разумеется, в присутствии Розочки мне приходилось есть, и бывало так, что несколько раз на дню, но это не было самоцелью, а случалось чаще всего невзначай, машинально. Другое дело — кормить Розочку или доставлять ей удовольствие тем, что сам что-то съешь; надеюсь, различие достаточно ощутимое.

В общем, я появился в редакции, чтобы занять денег. Мотивировка была прежней (в командировку — срочная работа в архиве). Я надеялся, и тому были основания (уже давненько не появлялся в редакции с утра), что моё явление никак не будет связываться с моим желанием у кого бы то ни было одолжиться. Но — ошибся. Не успел, как говорится, нарисоваться в дверях, ко мне быстрым шагом, как будто загодя поджидали, подошли два корреспондента из отдела «Комсомольская жизнь» и с таким видом, словно я самый богатый человек в СССР, попросили в долг по червонцу. «В крайнем случае, — настаивали они, — подскажи, кто при деньгах, перехватим у него». Конечно, они копировали меня, но самое неприятное, что обоих этих корреспондентов я знал как самых серьёзных и состоятельных в редакции и именно у них рассчитывал одолжиться. Разумеется, таким способом мне устроили obstruction. Я решил стоять насмерть. Впрочем, ничего другого и не оставалось.

Я сел за свой стол и первым делом написал объявление: «Деньги есть, но не одолжу из принципа». Я понимал, что теперь навсегда пресекаю редакцион-

ный источник. Но что было делать, ещё оставался редактор газеты, и его как-то надо было дожидаться (он, как правило, приходил в редакцию перед обедом).

Мои подозрения оправдались полностью. Только я успел написать свой письменный отказ и вытащил кипу рукописей якобы для чтения, ко мне один за другим стали подходить сотрудники с уже известной целью. Не произнося ни слова, я указывал на объявление, лежащее на краю стола. О, как внутренне я хохотал, наблюдая боковым зрением вытягивающиеся лица. Не знаю, как я догадался мгновенно сочинить «Деньги есть...», это было какое-то гениальное прозрение. Волею Провидения я спутал карты — не меня унижали, а — я... Причём не надо было вступать в диалог, объясняться. Вопрос — ответ. Я ликовал. Но, оказалось, преждевременно.

После того как все от меня отстали и всё улеглось, успокоилось, вновь появились те двое из «Комсомольской жизни». Я полагал, что они сейчас начнут притворно упрекать меня, стыдить, канючить, мол, как же так, говорил, что денег нет, а у самого, оказывается... Ну и так далее... К такому повороту я был готов. Но нет.

Они подошли ко мне как бы впервые. Очень долго и молчаливо изучали объявление. Потом, не обращая на меня никакого внимания, словно я отсутствовал, стали обмениваться впечатлениями, говорить, что принципы надо уважать, а людей принципиальных — чтить и даже по возможности ублажать деньгами для какой-нибудь срочной работы в архиве или ресторане.

Намёки были слишком прозрачными, чтобы не понять... но всё их ерничество меня не трогало, не вызывало обиды. Напротив, в какой-то степени забавляло, пока они не вытащили свои карманные деньги (хрустящие красенькие червонцы). Тут только почувствовал, что как бы проваливаюсь в пустоту. Корреспонденты затеяли своеобразное соревнование в щедрости. Дескать, ты мне можешь одолжить двадцать рублей, а я тебе — тридцать. Ты — сорок, а я — все сто.

Не знаю, как удалось выдержать. Это было больше, чем измывательство. Чтобы они не догадались о моих чувствах, неотрывно смотрел в рукопись. И — таки выдержал, они убралась, и я дождался редактора!

Он заявился после обеда, в приподнятом настроении (собирался в отпуск), и принял меня сразу. И тоже весело так:

— Что, Митя, опять в командировку — срочная работа в архиве?!

Я ответил, что нет, не для того зашёл: срочно нужны деньги. И посмотрел на него уж не знаю как, но весёлость с его лица мигом слетела. Вначале он задумался, как будто внезапно вспомнил что-то своё, а потом как-то суетливо поднял трубку и при мне попросил бухгалтерию:

— Выдайте Мите Слёзкину, — поправился, — выдайте поэту Слёзкину треть его будущей зарплаты.

И чтобы там, на другом конце провода, никто не оспаривал его решения, как бы выбросил на кон козырного туза:

— У него срочная работа в архиве. Да-да, в Питере.

Уж не знаю, что прочитал редактор в моём взгляде, но только и в бухгалтерии ко мне отнеслись с пониманием и выдали не треть, а — уже по моей просьбе — половину зарплаты.

Как только получил деньги, всё во мне так и запылало, так и заприплясывало. Невольно остановился на лестничной площадке — какая-то знакомая мелодия, во всяком случае — припляс?! И вдруг вспомнил: во мне пелись с приплясом приснившиеся слова, повторяющиеся рефреном: «Я пришел экологом, а уйду пахеном. Ой-ли, ой-люли. А уйду пахеном!» Глупо? Конечно, глупо, но я, так же как и во сне, рассмеялся и почувствовал на душе такую необыкновенную лёгкость, словно в ту минуту там, на лестничной площадке, свалил с себя груз всех прежних и будущих унижений.

### Глава 3

Розочка встретила великолепно. Положила пакеты со снедью на стол и позволила обнять себя. О Господи! В ответ каждая моя клеточка вскрикнула в восторге, нечленораздельно, но с такой истомлённостью, словно мы не виделись тысячу лет. Я сжал её в объятиях, прижался к ней и в какой-то сладостной муке уже членораздельно, с какими-то непонятными мне самому всхлипами пролепетал:

— Роз-зоч-ка!

— Ты что, плачешь? — строго, но всё же больше удовлетворенно спросила она и откуда-то из-под меня протянула руку и потрогала мои глаза, чтобы удостовериться.

Не знаю, может, в самом деле всплакнул от избытка счастья, только сам я ничего не почувствовал, кроме нежной лёгкости её пальчиков. А хотя бы и всплакнул, что тут такого?! Кажется, у Достоевского читал, что через великие страдания всё к нам приходит, — вот и Розочка пришла. Впрочем, без Достоевского, по собственному опыту познал, что счастье — это как подарок душе уже за то, что она, душа, есть...

У Розочки душа удивительная, удивительная по понятливости — она всегда понимала меня лучше, чем я сам себя самого. А потому опять, как-то ловко сцепив руки замком, поднырнула под меня и, отстраняясь, уперлась ими в мою грудь с такой силой, словно коленом.

— Какая я тебе Роз-зоч-ка?! — сердясь, передрозничала она и потребовала, чтобы я сейчас же отпустил её.

Я отпустил, конечно, но мысленно всё ещё как бы прижимал к себе. Так бывает с песней — тронет душу, уже давно отзвучит, а отзвук всё ещё теплится в сердце. Так и здесь — отпустил, стою переполнен-

ный, в каком-то гипнотическом состоянии, даже боязно пошевелиться. И тут она огорошила как бы сковородкой:

— Что, товарищ Слёзкин, маненько забылись, дали волю рукам?

То есть не огорошила, она ведь ещё во двореке нарсуда предупредила, что отныне она для меня никакая не Розочка, а Розария Фёдоровна. И я для неё тоже не бог весть кто, а физическое лицо, посторонняя личность. В лучшем случае — товарищ Слёзкин. Так что никакой «сковородки» с её стороны не было, просто всё сказанное ею в этот момент было в таком ужасном диссонансе с моими чувствами, что я как стоял, так и продолжал стоять, но уже без чувств.

Оправляясь и охорашиваясь от объятий, Розочка несколько раз внимательно посмотрела на меня, потом хохотнула, как умеет только она, прикрыв рот рукой.

— Повторяю: что, товарищ Слёзкин, маненько забылись, дали волю рукам?

И засмеялась так весело, так заразительно, что и я наконец-то пришёл в себя, тоже засмеялся, радуясь, что ей весело.

Мы вместе готовили ужин, баловались, бегали друг за другом на кухню, путали чужие сковородки со своей. И было даже интересно называть её Розарией Фёдоровной и откликаться на Физическое Лицо или Постороннюю Личность, словно на некий внезапно пожалованный прокурорский чин или воинское звание.

В общем, постепенно я привык к нововведению. Единственное неудобство от её затеи испытывал в постели. (Розочка снова разрешила спать с нею, но пригрозила: если хоть раз товарищ Слёзкин забудется и неправильно назовёт её, то пусть пеняет на себя.) Даже во время самых интимных излияний, когда вот-вот потеряешь рассудок, она предупредительно, тычками в живот, извещала меня, чтобы держал себя в руках, не забывался и не распускал слюни. Как-то я сознательно пошёл на хитрость. Зная, что после интимных излияний ей, так же как и мне, особенно приятно полежать просто так, созерцательно, без всяких мыслей, я пододвинулся к ней (она лежала на спине отдохновенно, в некотором забытии) и с неподдельной нежностью, свойственной мне в такие минуты, прошептал: цветочек мой, Розочка! Она как лежала, так и продолжала лежать, только голову, не приподнимая даже от подушки, резко повернула ко мне и голосом ровным, холодным и внятным сказала:

— Что, Посторонняя Личность?

Даже сейчас, спустя два года, мне иногда слышится этот леденящий голос. Больше я не испытывал судьбу. В постели всегда молчал, а если случался разговор, то силой воображения я подменял Розочку на какую-нибудь отвлеченную Розарию Фёдоровну, для которой иначе как товарищем Слёзкиным я и не существовал.

Как говорится, и здесь притерпелось. Тем более что в своих мыслях я был по-прежнему волен и по-прежнему Розочка оставалась для меня Розочкой, моим спасительным лучезарным цветочком. Кстати, как раз в это время она надоумила, каким гениально простым способом можно в кратчайшие сроки возродить наше захиревшее литобъединение. То есть пополнить его ряды, прямо говоря, новыми кредиторами.

По её наущению в присутствии старосты литкружка (по возрасту и бородатости он ходил в Львах Николаевичах) и его друга и помощника, который смело признался, что никогда ничего не писал, но по известной тарифной сетке честно отдал деньги, чтобы числиться у меня Николаем Алексеевичем Некрасовым, я прочел зажигательную речь, достойную тех, какие самому доводилось слушать в Литинституте от весьма и весьма известных мэтров отечественной литературы. Суть сводилась к тому, что написать одно хорошее произведение: рассказ, пьесу, повесть, роман, не говоря уже о стихотворении, — сможет любой, если захочет, главное — захотеть. А потому, объявил я, срочно приступаю к составлению коллективного сборника местных авторов. Всем членам литературного объединения гарантировал особые преимущества в публикации при условии, что каждый из присутствующих приведет на очередное заседание не менее трёх новых членов.

У слушателей (их было двое: староста и его друг) возникло два неожиданных для меня вопроса. Первый касался особых преимуществ, его задал староста. Он сказал буквально следующее:

— В течение которого времени будет действовать введенная льгота? — И пояснил: — Может, из вновь прибывших найдутся такие, которые захотят тожить привезть каких-нибудь своих трёх товарищей, а те — своих.

Я поблагодарил за вопрос, он показался мне заслуживающим благодарности. И, перейдя на лексику старосты, объявил как о давно решённом, что введенная льгота будет действовать в течение месяца (заседание проходило в двадцатых числах июля).

Второй вопрос задал друг старосты. Он полюбопытствовал:

— В каком городе и за чей счёт будет печататься коллективная книга или же она пройдёт как госзаказ по печатному учреждению?

При всём косноязычии друга нельзя было не признать, что вопрос задан по существу, как говорится, не в бровь, а в глаз.

Мелькнула шальная мысль: а вдруг он в самом деле Николай Алексеевич, редактор «Современника», а затем «Отечественных записок»? Тогда вполне логично, что и староста литкружка никакой не староста, а граф Лев Николаевич Толстой!..

Я с усилием отбросил шальную мысль и трясущимися руками стал шарить по карманам в поисках носового платка, который был нужен только для того,

чтобы выиграть время для более-менее вразумительного ответа. Однако ни платка, ни ответа не находилось. Я стал затягивать время, умышленно вынимать из карманов всякие предметы и класть их на стол, за которым как раз и сидели мои умудрённые жизнью классики.

Предметы были обычные: ключ от комнаты, коробка спичек, записная книжка, четверо сложенный лист стандартной бумаги с расписанием пригородных поездов и, наконец, диплом об окончании единственного в мире Литинститута, в котором чёрным по белому было написано, что Слёзкин Дмитрий Юрьевич — литературный работник.

В свое оправдание скажу сразу, что диплом никогда не был для меня обычным предметом, я его постоянно носил с собою лишь потому, что в начале моей литературной деятельности в городе Н... меня никто не знал и меняющиеся вахтеры в ДВГ (Доме Всех Газет) по вечерам не давали мне ключи от родной редакции, в которой проходили наши литературные заседания. Диплом служил своеобразным удостоверением на право получения ключей, и я привык, что он всегда при мне. То есть я не рассчитывал, что дипломом отвечу на всё так красноречиво, что на ближайшее будущее вообще закрою все вопросы и ответы.

Между тем мои умудрённые жизнью классики с нескрываемым интересом разглядывали предметы, которые я извлекал. В их интересе угадывалось собственное писателям и детям какое-то гипертрофированное любопытство. Чувствовалось, что каждому из них стоит больших усилий удерживать себя, чтобы не потрогать положенные на стол предметы. Наконец, когда на кучу-малу лёг диплом, староста, словно самый настоящий граф, с величественной медлительностью приставил свою палку к соседнему стулу и, как бы прикрывшись от меня бровями, решительно взял диплом.

Уж не знаю, что тут виною — кустистость бровей, бородатость (или величественная отстраненность старосты: и от меня, и от своего совершенно лысого друга с удлиненной бородкой клинышком), — но мне опять стало казаться, что я нахожусь в обществе самых настоящих, всамделишных писателей, для которых не существует ни меня, ни их вопросов ко мне, а только мой диплом, явно их встревоживший. Я, как некая трансцендентная вещь в себе, присутствуя, отсутствовал и в то же время, отсутствуя, присутствовал. Мне как-то было не по себе от того, что Лев Николаевич и Николай Алексеевич, несмотря на свои огромные литературные заслуги, не имеют такого, как у меня, диплома. Более того, в их красноречивых взглядах в мою сторону отчётливо читалось, что они завидуют мне и даже не пытаются скрыть своей зависти.

Это было прямо-таки умопомрачение или наваждение, а скорее и то и другое. Во всяком случае, я стал приходить в себя, только когда Лев Николаевич разгневанно стукнул батожком об пол и, стараясь

снискать моё одобрение, начал стыдить и даже оскорблять Николая Алексеевича:

— Эх ты, залыга-сквалыга, за чей счёт да в каком учреждении?! Да уж не за твой и не за счёт рулетки твоих спонсеров... Москва напечатает, по госзаказу!

Он опять сердито стукнул батожком в сторону редактора знаменитого журнала и, внезапно смягчаясь, повернулся ко мне.

— Конфиденциальное письмо от литературного работника — оно тожеть... Правильно я грю? — ласково спросил он, вставая.

Всё ещё зачарованный вниманием гения, ищущего у меня поддержки, я согласно кивнул.

Однако при всём уважении к великому писателю и даже преклонении перед ним моё воображение отказывалось представить, чтобы Лев Николаевич мог позволить себе (мягко говоря) подобную вольность в отношениях с редактором «Современника» (пусть даже в угоду мне, обладателю диплома, которому он искренне позавидовал). Тем более что редактором был не кто иной, как сам Николай Алексеевич, с которым он всегда был дружен и стихами которого не раз восхищался.

Чтобы окончательно рассеять морок окутавшего меня наваждения, я потёр виски и тут же через настежь раскрытые двери редакции услышал удаляющееся постукивание палки и отчетливую перебранку моих мнимых классиков:

— Ох, напрасно, напрасно о женской доле смолчал!

— Дак она такая жеть, как и у мужиков.

— Не скажи — хлёстче!

Некоторое время, точно маятник, палка отстукивала в шаркающей тишине. Потом вновь тот же тонкий, оправдывающийся голос:

— А насчет печати коллективной книги — я ить токмо по направлению мысли полюбопытствовал.

— Любопытству тожеть есть предел, — отрезал не столько низкий, сколько широкий по габаритам бас.

Опять шаркающая тишина и итог:

— У нас одно направление — привесьть каждому по три новых члена.

Недовольный стук палкой усилился, но отчетливость голосов как-то враз стусевалась — наверное, свернули на лестничную площадку. Последнее, что услышал:

— Об остальном — не наше дело, пусть литературный работник покумекает...

Не знаю, сколько просидел перед своими карманными предметами. Помню, что поверх них, словно некий приветственный адрес в знак, безусловно, героических заслуг в литературе, лежал «вверх ногами» мой по-особому ненавистный в ту минуту диплом. Конечно, он меня выручил, спас, но где и какой ценою? Да, я всегда гордился им, он, так сказать, вещественно подтверждал мою принадлежность к писателям, инженерам человеческих душ, численность которых даже в такой огромной стране,

как наша, никогда не превышала численности Героев Советского Союза.

И вот я — пал, пал в собственных глазах с помощью диплома, которым всегда гордился. Я сидел опустошённый, чувствуя себя последним негодяем. О, если бы я мог чувствовать себя хотя бы спившимся, но Героем СССР, которому благодаря званию всё же позволено без очереди сдавать пустые бутылки! Увы, я был героем другого порядка: молодым, неспившимся и, что ещё хуже, действительно что-то понимающим в литературе. Мне не было оправданий, я — пал, пал, пал!!!

Вспомнилось, как любил, словно бы невзначай, щегольнуть перед своими слушателями соотношением численности писателей и Героев. Да-да, изощрённо-тонким намёком я всегда давал понять, что раз писателей меньше, то они выше. Потом, чтобы продемонстрировать во всей полноте писательское великодушие и уважение к Героям, спускался с высот и напрямую объявлял, что литература — это поле боя, на котором ты, ничтоже сумняшеся, либо падешь, как бесславная жертва, либо, совершив подвиг, удостоишься после смерти признания и памятника.

Здесь, как правило, делал внушительную паузу, дожидаясь вопроса: «Почему обязательно после смерти?» И никогда не ошибался — вопрос задавался неукоснительно. Я опять взмывал: вперивался в потолок, непременно простирая руку вверх, вслед сардоническому взгляду, и, совсем как наш руководитель семинара поэзии в Литинституте (не буду оглашать его имени, чтобы не подумали, что хвастаюсь), не отвечал, а отвечивал, как бы перед самим Богом, — уж так испокон повелось на Руси, чтобы тебя признали, надо прежде обязательно помереть.

Не скрою, реакция слушателей чаще всего была гробовой, то есть ни звука, ни шороха. А лишь мои шаги взад-вперёд. Остановка. Я сам иногда в потрясении застывал, проникаясь несправедливостью запоздалого признания.

Что делать — Русский Бог более всех знает меру таланта, отпущенного каждому из нас, а потому и сурово взыскует. Уже только на нашей памяти так случилось с Шукшиным, Высоцким, а теперь мы... Я никогда не говорил — «туда же». Я говорил: «А теперь мы занимаемся литературой». Но в глазах моих великовозрастных товарищей по перу сквозил неподдельный страх, и он лучше всяких слов глаголил: «Да-да — туда же!..»

Я был тщеславен и беспощаден, но избегал низости. И вот — финал. Финиш. Я, как никто другой, чувствовал в ту минуту всю непререкаемую мудрость пословицы: сколько веревочке ни виться, а конец будет. Буду я зело та-ак ославлен своими «долговыми поборами», что пасть бесславной жертвой сейчас, сию секунду, было бы для меня великим счастьем и даже спасением.

Я ухватился за край стола — рои мыслей, чувств словно сорвались со смягчающих пружин.

Минутная слабость, надо пересилить... И тут, словно в насмешку над сонмом чувств, приводя мои мысли в какой-то новый, необычный порядок, в темя размеренно постучали: «Пусть по-ку-ме-ка-ет, пусть...» Да-да, я узнал стук батожка. Он разрастался, множился, пока, содрогаясь, я не выдавил ему в ответ: «Покумекаем». С кем согласился, что пообещал — непонятно! Но в голове прояснилось и как бы отпечаталось — прежде всего следует разобраться с дипломом литературного работника (главным виновником моего падения), а потом уже — и с самим работником. Да-да, я решил порвать, растоптать, уничтожить диплом. И — покончить с собой, как говорится, наложить на себя руки.

Распираемый ненавистью, в нетерпении двумя руками схватил злополучные корочки, словно они могли ускользнуть, и вдруг под руками отчётливо звякнул ключ. Ключ от общежития, от нашей с Розочкой комнаты. Я замер — ключ, ключик, родничок! Животворная радостная струя, наполняя меня, смывала всю горечь, позор, страхи. Воистину ключом — да по голове! Воистину клин вышибается клином!

Спрятав диплом во внутренний карман пиджака, в невольном порыве прижал его рукой к сердцу и засмеялся, представляя, как весело будет Розочке от того, что выполнил её поручение, точнее, что выполнилось оно само с помощью замечательного диплома.

Я летел домой как на крыльях.

О Господи, заклинаю всех-всех горемык и горемычек: никогда не отворачивайтесь от жизни, не падайте духом, не поддавайтесь настроению — жизнь прекрасна!

Уже в автобусе, вспоминая свое отчаяние, внезапно хихикнул, чем развеселил девчонок, очевидно, абитуриенток «культпросвета», гурьбой стоявших на задней площадке. Они поначалу смеялись сдержанно, пряча друг за дружку. Зато, выходя возле «Палас-отеля», так дали волю чувствам, что и я рассмеялся и, гримасничая, как обезьяна, помахал им в окно. Во мне окрепла уверенность, что Розочка ждет меня не дожидаясь, чтобы обрадовать какими-то своими удивительными подарками.

#### Глава 4

Предчувствия не обманули. Розочка встретила на лестничной площадке: разговаривала с молодым человеком, который при моём появлении резко повернулся ко мне спиной и так глупо стоял лицом к стене, пока мы не ушли. Я хотел спросить Розочку, кто он, но она отвлекла, сообщив, что устроилась в «Палас-отель» медсестрой и теперь будет работать по скользящему графику так, что иногда — в ночь. В честь события устроили праздничный ужин, и всё-всё было великолепно. Я рассказал о литобъединении, и Розочка была просто в восторге, что я поставил условием участия в коллективном сборнике не-

ременное наличие новых членов литобъединения. Да-да, наличие! (Её слово.)

Тут же, взяв ручку, она подсчитала, что в течение месяца количество «литобъединенцев» возрастёт ровно на сто пятьдесят человек. (Цифра показалась невероятной даже для неё.)

— Если брать в долг по рублю, и то получается сто пятьдесят. На тридцать рублей больше оклада, потому что без всяких вычетов!

Розочка впервые посмотрела на меня так продолжительно и с таким восхищением, словно я был не я, а какой-нибудь всамделишный претендент на Нобелевскую премию.

— Теперь, Митя, ты сможешь жить без Розарии Фёдоровны, — вдруг, погрузившись, сказала она.

Моё имя в её устах, как в прежние безоблачные времена, до того растрогало, что я невольно всхлипнул. Ей пришлось утешать меня и даже накричать, что выпил лишку, а то бы догадался: она имела в виду, что теперь у неё тоже будет свой заработок, и больше ничего.

Сейчас, два года спустя, понимаю: Розочка уже тогда приняла трудное решение и просто проговорилась. Как бы там ни было, а с позиций сегодняшнего дня не устаю восхищаться её гениальностью. По сути, все её установки по литобъединению есть не что иное, как свободный рынок, который она предвосхитила задолго до гайдаровских реформ.

В общем, Розочка меня успокоила и настояла, чтобы я немедленно отказался от тарифной сетки. Она убедила, что обсуждение произведений в том первоначальном виде утратило былую актуальность. Она предложила для каждого члена литобъединения разовый взнос в количестве семи рублей. Так сказать, на технические расходы: бумагу, перепечатку рукописей, редактирование... Помнится, я возразил — «дешево!» — но она выставила свой резон:

— Зато деньги соберёшь сразу. Мало — много лучше, чем много. Кроме того, у большинства твоих литераторов ещё ничего не написано. А потом месяца через три-четыре, когда некоторые начнут терять: как идёт работа над книгой? — всегда можно сказать о денежных затруднениях, о внезапном подорожании технических услуг. Вот увидишь, — сказала Розочка, — никто не пикнет, пока сам не объяснишься, а ты не торопись, жди.

И ещё, научила она, чтобы ни в коем случае не брал взносов со старосты и его помощника. Напротив, потребовала, чтобы, как только у меня появятся деньги, сейчас же им вернул всё, что когда-то брал в долг. Но если будут отказываться — не настаивал, не перегибал палку, чтобы не подумали, что вместо них уже подыскал новых помощников.

Результат превзошел самые смелые ожидания. От собрания к собранию количество членов литобъединения всё прибывало и прибывало. И даже более чем в геометрической прогрессии. В один из августовских дней меня встретил на крыльце в ДВГ наш ре-

доктор молодёжной газеты, только что вернувшийся из отпуска.

— Слушай, — сказал он, хватаясь за голову, — неужели все они что-то пишут?!

— Пытаются, — уклончиво ответил я. — А в чём дело?

— Послушай, о чём они толкуют?! Их так много, и ни одного знакомого лица!

Он сунул мне в руки ключ от актового зала, заметив, что под мою персональную ответственность (после ремонта кресла были обтянуты красным дефицитным велюром). И, всё ещё находясь под впечатлением увиденного, точно в бреду, пробормотал:

— Конец света, конец!..

Он сбежал с крыльца и, не оглядываясь, что-то бормоча себе под нос, свернул за угол.

Поведение редактора насторожило. Поначалу я здорово испугался. Его вопрос: неужели все они что-то пишут? — застал меня врасплох. У меня даже мороз пошел по коже: я уловил в вопросе избыточные нотки полнейшего неверия в литературные способности людей, собравшихся на очередное заседание. Мне это показалось подозрительным.

Я тихо прошёл коридорный тамбур и, придерживая тугую дверь, чтобы не привлекать внимания дребезжащим хлопаньем, вошёл в вестибюль. Моё появление осталось незамеченным, и немудрено — стена из пиджаков, фуфаяк, френчей какого-то общесерого поношенного цвета, под которыми угадывались пожилые, большей частью действительно согбенные, натруженные спины, заполняла пространство вестибюля настолько плотно, что я сразу почувствовал себя у двери как бы отгеснённым толпой. Если бы не редактор, ни за что бы не догадался, что это мои начинающие литераторы. Подумал бы: в ДВГ проходит какой-то расширенный слёт рабселькоров, они вывалили из актового зала на перерыв покурить и, судя по тому, что стянулись в обособленные группы, продолжают дискутировать на строго заданные газетой темы.

Особенно громко и горячо спорил у своего начальнического стола под лестницей дежуривший вахтёр-пенсионер Фатей Никодимыч (зимой и летом в валенках с галошами). Он так разошёлся, топая ногами, что не только я, а многие (это улавливалось по отчетливо стихшему вокруг говору) начали прислушиваться к нему, стараясь вникнуть в предмет спора.

— А я ещё раз говорю, — зычным голосом настаивал Фатей Никодимыч. — Простая пенсия выше — сто тридцать два рублика, а персоналка — всего сто шесть, даже сто четыре!..

— Ну дак там льготы, — вмешалось несколько голосов.

— А я об чём? — обиженно спросил сразу всё общество Фатей Никодимыч и примирительно заключил: — В том-то и дело — льготы, а он ерепенится.

Кто ерепенился, я не видел из-за спин, да и не пытался увидеть. Возобновившийся дружный гул го-

лосов не оставлял сомнений: тема дискуссии теперь у всех общая и по-настоящему животрепещущая.

Меня бросало то в жар, то в холод. Я понимал, что как-то надо овладеть ситуацией и начать заседание, и не представлял, каким образом.

Я опять выскользнул за дверь и вышел на крыльцо, чтобы освежиться. Солнце было ещё высоко, но в пасмурности дня уже накапливалась предвечерняя дымка. Вокруг было тихо, тепло, просторно. И до того вдруг захотелось уйти куда-нибудь от этих согбенных литераторов... ну хотя бы на древний городской вал, что я невольно шаг за шагом стал спускаться с крыльца. Наверное, так бы и ушёл, если бы не тополь: неожиданно ласково залопотал листьями и уронил на лицо несколько случайных капель. Он словно бы загодя оплакивал меня, Митю Слёзкина. Я резко повернулся на сто восемьдесят градусов и, словно мои шаги с крыльца, лопотание тополя, случайные капли, всё-всё строго входило в мой план предстоящих действий, решительно направился внутрь здания.

На этот раз умышленно сильно хлопнул дверью. Даже немного не рассчитал и едва не наскочил на какого-то пожилого дядьку (дверь на скорости догнала меня и буквально втокнула в вестибюль). Мне казалось, главное — обратить на себя внимание, а дальше уже не составит труда увлечь за собою литературные дарования. Тем не менее почти никто не заметил моего шумного появления. То есть на меня оглянулся дядька, его собеседники тоже посмотрели, но как-то невнимательно, как на назойливую муху.

Никогда в жизни я не чувствовал себя столь посторонним и никому не нужным. И где?! Среди членов своего родного литературного объединения. Теперь я был подавлен не хуже редактора газеты: «О чём они говорят?! Конец света, конец!..»

И опять выручила Розочка. Стоило мне на какое-то мгновение мысленно воззвать к ней, стараясь представить, как бы она поступила в данной ситуации, и в следующую секунду я уже точно знал, что надо делать. Более того, как говорится, на все сто... не сомневался в успехе.

— Това-ариши, ай-ай-ай, — тонко и звонко возопил я, словно вот только что натолкнулся на что-то из ряда вон. — И это инженеры человеческих душ?! Вопиюще, вопиюще!.. — продолжал я нагнетать обстановку всеобщего дискомфорта.

Почувствовав, что гул голосов ослабел и меня заметили, я смело ринулся в самую гущу литобъединенцев. Продираясь к лестнице, не жалел локтей, бесцеремонно расталкивая всех подряд.

— Кто позволил, кто разрешил?! — громко негодовал я, набрасываясь на спины, точно разъяренный тигр. — Не курить, не сорить, слышите!.. — возмущился с такой страстью, словно курение и сорение были издавна моими злейшими личными врагами. — Слышите, не курить!.. — захлебываясь в гневе, по-

вторил я и на секунду оторопело застыл, полностью исчерпав запретительный запас слов.

— Кто это? — услышал я за спиной.

— Наш руководитель... гегемон, начальник...

Судить не берусь, как стала бы развиваться ситуация, если бы толпа не расступилась. Но она расступилась, обнаружив в конце живого коридора нашего вахтера Фатей Никодимыча.

Он стоял по стойке «смирно», насколько позволяли возраст и сугубо пенсионерское обмундирование: меховая поддёрка, тёмные суконные штаны и знаменитые валенки в галошах. Весь его вид выражал виновность, поэтому мне не составляло никакого труда симпровизировать.

— Не ожидал, никак не ожидал от вас, Фатей Никодимыч, что вы позволите курить прямо на вашем посту, — строго, точно партсекретарь, сказал я и, увидев, как конфузливо заулыбался старик, смягчаясь, подытожил: — Да и то верно, взрослые: сами должны понимать.

— Вина тут, конечно, моя, всяких здесь повидал, но чтоб такие интересные люди и сразу в таком большом количестве — впервые, вот и не устоял, разрешил, пусть, думаю, маленько подымят, — повинулся Фатей Никодимыч.

— Интересные-то интересные, — польщённо согласился я, — но посмотрите, как насолили, хоть топор вешай!

Я засмеялся, и вслед засмеялся Фатей Никодимыч, а уже за ним облегчённо и все остальные (слава богу, руководитель, гегемон... простил нарушение, инцидент исчерпан).

Руководитель, гегемон?! Я, Митя Слѣзкин, руководитель-гегемон, весьма важное умозаключение литобъединенцев, чтобы им не воспользоваться. И я воспользовался. Не отходя от начальнического стола под лестницей, поручил Фатей Никодимычу открыть актальный зал. Заметив в толпе трёх прежних членов литкружка (двух Горьких и одного Маяковского), подозвал их к себе, приказав пролетарским писателям стоять у двери (следить за порядком), а Маяковскому (человеку с морщинистым лицом, маленькому и юркому, о таких говорят: метр с кепкой) дал указание разыскать старосту литактива и его друга.

Мой авторитет руководителя рос буквально на глазах; отдавая по-военному четкие распоряжения, я чувствовал себя действительно гегемоном. Особенное уважение у окружающих вызвало моё указание Маяковскому, который, обладая редкостным басом, так зычно рыкнул в толпу фамилии нужных людей, что толпа, охнув, тут же исторгла их. Впрочем, и Лев Николаевич, и его друг Николай Алексеевич уже давно сами пробивались ко мне, и горлан-агитатор всего лишь придал им сил устоять в людском потоке, хлынувшем в актальный зал.

В тот вечер я не сделал ни одной ошибки, ни одного сбоя. Мне казалось, что я участвую в каком-то грандиозном шоу, в котором играю главную роль

не то председателя правления альтернативного Союза писателей, не то главы никому не известной политической партии, установившей связи с масонской ложей для проведения особо секретных акций в глубинке. Во всяком случае, моя речь хотя и была краткой, но достаточно насыщенной подстрочным смыслом. Постучав карандашом по графину (в президиуме вместе со мной сидели староста литобъединения, его друг, два Горьких и один Маяковский), я сказал дословно следующее:

«Товарищи начинающие литераторы, возможно, среди вас сидят, сами того не ведая, будущие Достоевские, Толстые, Тургеневы, Лесковы, Гончаровы, Чеховы, Аксаковы и Гоголи. Да-да, давайте помечтаем! Я даже допускаю здесь будущего Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Есенина, Кольцова, Тютчева и Ивана Алексеевича Бунина. Короче, и Сашу Черного, и Андрея Белого, всех-всех допускаю. Может быть, среди вас найдутся и Омары Хайямы, и Назымы Хикметы, и Хафизы из Ширази — всё может быть, надо посмотреть, обсудить и лучшее издать в коллективном сборнике. Главное, не зазнавайтесь, помните: в толще народа сокрыт такой талант, против которого все мы даже не пигмеи, а пигмейчики. Однако недооценивать себя тоже нельзя. Для литературы не важно, во сколько лет вы пришли в неё, гораздо важнее, с чем пришли, ибо опыт каждого бесценен. А теперь подумайте над названием коллективного сборника.

По второму организационному вопросу выступит староста литобъединения, творчество которого уже обсуждалось и единогласно было принято, что он, наш староста, как бы наш Лев Николаевич Толстой. Так что прошу любить и жаловать...

И ещё, товарищи, потише — чем раньше начнем, тем раньше закончим».

Моё нахальное предположение, что в зале, возможно, сидят классики мировой литературы, как я и ожидал, вызвало весёлое оживление. Тем не менее нахальство было не только апробированным, но и оправданным. Да, я шёл и вёл собрание, что называется, по лезвию бритвы. Но осечки быть не могло, она исключалась самой сутью тщеславия начинающих литераторов, которое ничуть не ниже, а много выше, чем у заканчивающих. К тому же узкий кругозор всегда дает человеку широкие перспективы. И не надо забывать, что любому лестно, когда в нем заранее предполагают что-то схожее с тем или иным великим писателем. Даже чисто внешнее сходство и то льстит, а я ставил задачей коллективного сборника отыскать сходство профессиональное, через произведения моих литераторов. Если же признать, что огорчаться вторичностью было бы слишком пикантно для моих дарований (а это так), то и вовсе станет понятным, почему я несколько не рисковал в своем нахальстве. Кроме того, я дал повод каждому обнаруживать друг в друге физическое сходство не с актерами (что у нас сплошь и рядом), а с писателями. Со-

гласитесь, исподволь даже здесь возникает чётко профессиональная ориентация подспудных мыслей. И всё это литератору-новичку за каких-то семь рублей взноса на технические расходы по изданию коллективного сборника.

(Кстати, то есть совсем некстати, сумму взноса староста назвал в своем выступлении «разовым оброком». Вначале я хотел поправить его, указать на неуместность сравнения, но под одобрительный гул зала вовремя передумал — пусть будет оброк, какая разница?!)

И ещё о моей безошибочности. Когда из президиума спустились в зал мои помощники (с одной стороны староста и его друг, а с другой Маяковский и два Горьких), чтобы собрать деньги и попутно составить списки новых членов литобъединения, я сам слышал и наблюдал со сцены, как мой Маяковский, догоняя какого-то припадающего на ногу литератора (ретиво покидавшего зал, не уплатив оброка), добродушно рычал:

— Постой-постой, Байрон, лордов сын, давай-давай, не жмись, вытаскивай свои подкожные трёшки!..

## Глава 5

Заседание литобъединения длилось около четырёх часов. Никто не хотел расходиться. Пока мои приближённые орудовали в партере, я, восседая возле графина, записывал конкурсные названия для будущего сборника. Они сыпались на меня как из рога изобилия. Любой другой руководитель на моем месте запросто бы поскользнулся, выдал себя чрезмерным либо неприятием, либо приятием предложений. Я же сразу предупредил, что все названия будут строго проголосовываться на следующем заседании, и только из десяти лучших выберем (по жребию) единственное и окончательное.

Такие названия, как «Живые родники», «...ключи», «...истоки», «...корни», «...реки», «...протоки», «Восход солнца» или «Закат...», «Звезды на небе», «...над Землей», «...над крышей», «...над нами», «Огни над городом», «...над чистым полем» и опять «...над нами», «...над крышей» и так далее, я писал почти машинально, не отрывая руки от листа. Но иногда среди этих знакомых до боли, до оскомины в зубах названий вдруг возникало нечто, что останавливало руку, заставляло призадуматься и даже объяснить. Например, «Звёзды-то неземные».

— Почему же «Звёзды-то», а не просто «Звёзды»? — неосторожно переспросил я.

И сейчас же получил исчерпывающее «разъяснение». Автор как-то сверху вниз улыбнулся и, растолковывая мне, неучу, указательно в потолок вперил руку и повторил с глубокомысленными паузами: «Звёзды-то — неземные».

— То есть вы хотите сказать: «То — звёзды неземные»?

— Да, — ответил автор. — Смысл угадали, но слова попрошу разместить в прежнем порядке — «Звёзды-то — неземные».

Надеюсь, теперь понятно, как трудно было не поскользнуться. А ведь ещё были названия «Книга книг», «Ванька — встань-ка!», «По Сеньке — шапка» и множество других, которые, мягко говоря, вызывали не только недоумение, но и опасение. Слава богу, приведенные выше названия авторы почему-то сами решили «разъяснить» (их слово).

«Книга книг» — тут имелась в виду претензия на будущую всеохватность включённых в неё сочинений, грандиозных по замыслу и исполнению, призванных заменить целые библиотеки. Автор сказал, что ему очень понравилась моя наводящая речь, особенно слова: «Однако недооценивать себя тоже нельзя». Он, в прошлом заводской художник, вызвался написать эти запоминающиеся слова на красной материи (кумаче) и вывесить над сценой здесь, в актовом зале.

«Книга книг», сказал автор, будет хорошим подспорьем для лозунга, а лозунг, который он согласен написать всего за семь рублей, — для книги.

Далее он стал объяснять, что по заводским расценкам ему платили по трёшке за слово, а тут ещё материя, которую предоставит бесплатно.

Первою была мысль: издевательство или розыгрыш? Вторую: мы, всё литобъединение, уже сошли с ума или сходим?! Третья мысль явилась как защитная: ничего не принимай всерьёз, только как информацию, только как информацию... В голове заело, как иголку на заезженной пластинке. Не знаю, чем лично для меня закончилось бы осмысление предложенного названия и лозунга, если бы не вмешательство зала.

Вначале зал негодуяще загудел, потом разразился злобно-ехидными репликами с мест: «Это что — натурпродукт?! Давай ещё предложи оброк — квашеной капустой или солёными огурцами! Ишь, умник: «Книга книг», а сам какую материя подсовывает?! Художник и ханыга-сквалыга — это одно и то же, вот что пусть запишет в своей голове!.. Предлагаю «Книгу книг» и заводского художника исключить из литкружка!..»

— То-ва-ри-щи! — вмешался я, постучав по графину. — Не забывайте, что писатели всегда были гуманистами. Название «Книга книг» очень ответственное, но оно войдёт в конкурс на общих основаниях, ещё будет время отклонить его при обсуждении. А исключать товарища за предложение натурпродукта нехорошо. Ну предложил человек из благих намерений сапоги всмятку, ну и что, с кем не бывает?

Особенно хорошо подействовали на зал «сапоги всмятку», они были восприняты как адекватная мера, на корню зарубившая и «натурпродукт», и «Книгу книг».

Другое дело, название «Ванька — встань-ка!», которое я записал так, как если бы записывал название знаменитой игрушки, то есть через дефис. Увы, я не



понял основного замысла, а уловил лишь тонкий намёк, потому что, как объяснил автор:

— Главное в этом названии — нас, как Ванек, редакторы не пускают, валят с ног, гнобят, а мы своими нестандартными произведениями как бы тычками вбок: Ванька, вставай! Нечего разлёживаться — опять гнобят!

По одобрителю гулу собрания, по которому я настраивался, как по камертону, понял, что разъяснение понравилось моим литераторам и «Ванька — встань-ка!» при обсуждении наверняка войдёт в десятку лучших названий. То же самое произошло и с названием «По Сеньке — шапка».

— Всякий, кто возьмет книгу, подумает: что-то плохое в ней, недостойное. По Сеньке в кавычках подумает, от поговорки прикинет, но для нас-то это хорошо, на плохое большинство людей азартней клюет. Зато потом, когда прочитаешь книгу, скажет: «О, вот оно в чём дело, шапка-то на Сеньке не простая, а из драгметалла, вся в изумрудах. Да и сам Сенька каков?! Ему палец в рот не клади... Да-а, поумному, мозговито всё здесь представлено».

— Что-то вроде... «По Сенеке — шапка», — под- сказал я.

Автор одёрнул меня:

— Ещё раз повторяю для всех глухих, — обидчи- во повысив голос, сказал он. — По Сеньке, по Сень- ке — шапка!

Разъяснение было принято безоговорочно, един- ственное — внесли корректив: книга хотя и одна, авторов-то много, неувязка получится. Решили, что точнее было бы назвать её во множественном числе: «По Сенькам — шапки». Но тут, наученный непони- манием и стычкой по «неземным звездам», заарта- чился я, отказался исправлять название.

— Авторство — святое дело! — сказал я, подняв вверх указательный палец.

Не знаю, чем объяснить, но с удивительной бы- стротой я перенимал и усваивал не только лексику, но и глубокомысленные жесты своих подопечных.

— Авторство есть интеллектуальная собствен- ность, которая во всех цивилизованных странах охраняется законом как патентованное изобретение. Только автор, только он имеет право на корректи- ровку своего детища, в данном случае — оригиналь- ного названия, — строго сказал я.

После моих слов автор вначале застеснялся, а по- том возгордился так, что литобъединенцам при- шлось немало поусердствовать, чтобы он согласился откорректировать название. Наконец из зала крик- нули, что уломали собственника, что он согласен, пусть будет «По Сенькам — шапки». Я сделал вид, что не поверил услышанному. Тогда поднялся сам автор и, конфузясь и извиняясь, подтвердил, что можно записать во множественном числе, потому что его уже обзывают «проклятым частным соб- ственником» и угрожают, мол, ему нечего делать в коллективной книге.

— Ну что ж, по-своему они правы, — заключил я и объявил, что записал «По Сенькам — шапки».

В ответ в партере радостно загомонили, кое-где даже раздались победные аплодисменты.

В общем, заседание литобъединения проходило настолько живо, что никто, в том числе и я, не заме- чал времени. Полный контакт зала и президиума не нарушался, даже когда мои помощники, орудующие в партере, вынужденно отвлекали меня: поднимались на сцену с раздутыми от денег карманами и отдавали выручку, что называется, из кармана в карман.

Дело в том, что подкожные рубли, трёшки, пя- тёрки (десяток, двадцатипяток, пятидесяток и тем более сторублёвок, разумеется, не было) по своим физическим свойствам сильно отличаются от нор- мальных денег. Для уяснения отличия сложите лю- бую казначейский билет так, чтобы он был величи- ной с ногой. Затем вставьте этот билет в брючный «пистончик» для карманных часов или под внутрен- нюю стельку туфли, потом через месяц, а то и два вытащите его и разверните. Перед вами во всей сво- ей форме, а точнее, бесформенности предстанет подкожная единица.

Какие-то лохмато-раздутые, пузырящиеся и ше- велющиеся, как живые, они настолько сильно пора- жали воображение, что даже мои выдавшие виды ли- тераторы, впервые узрев их в большом количестве, были потрясены настолько, что на какое-то время оцепенели.

Виновником этого стал староста, точнее, его ще- петильность. Когда в первый раз, важно постукивая палкой, он поднялся на сцену и, чтобы ни у кого не было сомнений в его честности, демонстративно по- ложил на стол подкожные деньги, пухлая пачка, ко- торую он вот только что держал в руке, повела себя на столе как-то не так, ненормально. То есть на гла- зах превратилась в шевелящуюся кучу, которая, пу- зырясь, расползлась во все стороны. Причем не только общей массой, но и отдельными, обгоняю- щими друг друга ассигнациями.

— Смотри-ка, как гусеницы прямо, — подивился староста, а из очнувшегося зала кто-то крикнул в сердцах:

— Господи, да хватайте же их, вон уже под сто- лом ползают!

Человек десять вскочили с первого ряда, подбе- жали к сцене, но староста остановил их.

— Стяты! — властно отрубил он и, отбросив пал- ку, кинулся ничком на стол.

Он обеими руками подгрёбал под себя располза- ющиеся купюры, и это было ужасное зрелище. Пото- му что деньги продолжали шевелиться в его взъеро- шенной бороде, и казалось, что он их жуёт.

Я бросился под стол, и вовремя. Несколько под- кожных трёшек, подталкивая друг дружку, напозла- ли на рампу, а одна со стайкой «рваных», словно с утятами, пересекла заднюю часть сцены, норовя ускользнуть за кулисы.

После этого нервного случая никто не выказывал неудовольствия тем, что приходилось изредка прерываться для приёма денег. Напротив, слушатели сами напряжённо затихали, а чаще подсказывали, как надо действовать, чтобы избежать новой оплошности. В особенности их подсказки пригодились, когда все карманы пиджака и брюк были туго набиты и я растерялся, не зная, куда девать поступающие деньги.

— Давайте у вахтёра возьмём наволочку, — услужливо предложили из зала.

— Наволочка — неплохо, но уж больно заметно с нею показываться на людях, — низким, придавливающим басом рассудительно возразил Маяковский.

Он стоял на сцене рядом со мной и воочию видел: надо что-то делать, не ровен час, подкожные деньги сами начнут вылезать из карманов.

— Тогда за пазуху.

Видя, что я почему-то не решаюсь, меня стали подбадривать из зала:

— А что, за пазуху — лучше всего... Пиджаком прижмется, и никто не догадается...

— А на манжеты рубашки надо лигатуры наложить, — заботливо посоветовал друг старосты, мой Николай Алексеевич.

Специальный термин, означающий нить перевязки кровеносных сосудов, озадачил не только меня. Слушатели заинтересовались:

— Это что такое — лигатура?

К вящему удовольствию Николая Алексеевича, попутно выяснилось, что он, в недавнем прошлом ветеринарный фельдшер, выхолощивая кабанчиков, наложил столько лигатур за свою жизнь, что просто не честь.

Словом, у Николая Алексеевича нашелся клубочек шёлковых ниток, и мне на манжеты и на всякий случай на носки, в кои были заправлены брюки, он действительно мастерски наложил свои лигатуры. Удивительно, но в его лигатурах, точнее, в рисунке нити подготавливаемого узла весьма чётко просматривались буквы «Н» и «А». Николай Алексеевич (на всякий случай) и галстук мне подтянул.

— Пуговица — отлетит, а галстук — удержит, — прозорливо объяснил он свое действие.

Я возвращался домой, окружённый вниманием и почётом. Меня провожали на автобусную остановку едва ли не все литобъединенцы. Мы условились, что следующее заседание проведём в последнюю среду месяца, двадцать восьмого августа. Но засиживаться, как нынче, не будем, проголосуем конкурсные названия — и по домам. Двадцать восьмого августа большой церковный праздник, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, и многие из моих слушателей изъявили желание побыть в такой вечер дома, в кругу семьи, среди внуков.

Я не возражал, настроение было отличным, мне и самому теперь хотелось побольше и подольше побыть дома, с Розочкой.

## Глава 6

В автобусе я сидел в углу, и мне никто не мешал предаваться радужным мечтам. Подкожные деньги тоже не беспокоили. Зато когда я сошёл с автобуса и ходьбой невольнo расшевелил их, то меня до того раздуло, что возле магазина на меня стали оглядываться, а несколько молодых людей (стояли кружком, разговаривали) стали друг друга спрашивать обо мне так громко, чтобы я услышал:

— Откуда он взялся?! Куда пошел этот матрас?

Я поспешно скрылся в подворотне и стал пробираться к общежитию, минуя натоптанные тропки. В самом деле, я себя чувствовал как бы внутри соломенного матраса. Деньги до того разволновались и под рубашкой, и в брюках, что я просто вынужден был расстегнуть пиджак и приподнять руки. Не знаю, каким чудисцем я выглядел со стороны, но точно помню, что ощущал себя какой-то хищной птицей наподобие рассерженного коршуна.

В общежитие проник незамеченным (к счастью, задняя дверь была незаперта). На площадке нашего этажа опять встретился загадочный молодой человек, который почему-то взял за правило при встрече обязательно отворачиваться от меня, становиться лицом к стене. Он и на этот раз отвернулся и стоял как истукан, пока я не вошел в коридор. Потом я услышал быстрый-быстрый стук каблуков, он словно скатывался по лестнице. «Станный, весьма странный тип», — подумал я о нем и где-то в глубине души порадовался его правилу: моё подобие хищной птице осталось при мне.

В коридоре было темно и пустынно. Я включил свет. Неоновые лампочки в большинстве отсутствовали, а те, что светили, исчезающе вспыхивали, словно от встряхивания. В их обманчивом свете любой человек, идущий по коридору, воспринимался прыгающим кенгуру — либо большим, либо маленьким. Все другие внешние отличия утрачивались. Я потому и включил неоны, что лучшую светомаскировку вряд ли можно было придумать. Но и она полностью не исключала распознавания. Слух у жильцов настолько обострился, что все мы узнавали друг друга по шагу, покашливанию и другим звуковым приметам.

Когда шёл по бесконечному коридору, позади меня по обе стороны открывались двери и слышались перешептывания, глохшие в шаркании моих штанов, — уточняли, я это, литератор Митя, или не я. Меня несколько удивило столь единодушное любопытство, но я отнёс его на соломенный шорох шагов, который всё же был непривычным для их обострённого слуха.

Дверь в нашу комнату была распахнута настежь.

— Розочка... Розария Фёдоровна, — позвал я, представляя, как она выбежит и, быть может, бросится мне на шею (её действия всегда были непредсказуемы).

Ответом было эхо, коротко отскочившее от голых стен. Я подумал, что спутал комнату: ни книжного шкафа, ни телевизора, ни холодильника, ни шифоньера, ни стульев даже, ничего. «Лишь стол и книги, и те у двери, как бы в насмешку, свалили на пол с бельём каким-то вперемежку. Ушла хозяйка — зачем интриги? Ушла хозяйка...» — писал я когда-то в одной из своих студенческих пьес. Теперь слова эти вдруг вспомнились с такой отчетливостью, что вздрогнул, боясь поверить в их пророческий смысл.

Я выбежал в коридор, чтобы удостовериться, — глянул на номер на двери, но ещё прежде по обилию скачущих ко мне «сумчатых» понял: пророчество свершилось, это была наша, наша с Розочкой, комната, и она была пуста.

Я стоял и ждал. То есть ничего и никого не ждал, а стоял потому, что чувствовал какую-то болезненную размягченность во всём теле, особенно в коленях. И ещё чувствовал подташнивание и какое-то обморочное головокружение. Я стоял, потому что боялся, что, сделав шаг, сползу по стене на пол и буду сидеть у пустой комнаты в коридоре и это будет смешно. Мне не хотелось быть смешным. Вдруг поразился меткости сравнения — ватные ноги. Тот, кто первым сказал о слабости в коленях и ватных ногах, безусловно, был гением. И ещё припомнился педагог из Литинститута, утверждавший, что пророческие слова обладают магнетизмом: притягивают жизнь, и она уже совершается по Слову. Господи, как мне хотелось тогда писать пророческие стихи, указывать самой жизни, как ей надо правильно эволюционировать. Скажу откровенно, я всегда сомневался, что смогу написать что-то подобное. И вот написал, накликал беду на свою голову. В ту минуту я готов был отдать все свои настоящие и будущие пророчества и в придачу все пророчества мира только за то, чтобы Розочка была со мною, а случившееся предстало не более чем сном или каким-то нелепым, вполне исправимым недоразумением.

Между тем жильцы приблизились, но не вплотную, остановились на расстоянии, перекрыв коридор живой стеной, точно плотиной. Наш пятый этаж числился у комендантши семейным, хотя на нём проживало довольно много холостяков, в основном разведённых. Они стояли в первом ряду, и именно они, когда я покачнулся в их сторону, разом откатнулись от меня и разом же стали рассказывать, как всё произошло и происходило. В их восклицаниях, репликах, оценках, полных неподдельного сочувствия, я не улавливал никакого сочувствия. Напротив, чем больше они сокрушались, припоминая, как она, стерва, сидела в углу на стуле, а четыре кавказца с Петькой Ряскиным, неумытые носороги, пробежали с мебелью по коридору, тем наглядней проскальзывала их какая-то неудовлетворенная зависть к этим неумытым.

— В пять минут, гады, растащили комнату. А она потом, стерва, поднялась со стульчика и так вместе со стульчиком и ушла за ними.

— Она не стерва, она моя жена! — крикнул я неожиданно тонким, сорвавшимся на фальцет голосом и ладонями закрыл уши.

Честно говоря, я уже никого не видел и не слышал, я даже не понимал, зачем стою и как будто выслушиваю и вглядываюсь в дергающиеся лица жильцов. Ничего подобного. В обманчивом свете неона никого в отдельности я не узнавал. Жильцы слились для меня в какое-то многоликое существо, которое во всём соглашалось со мной, и хотя я теперь молчал, всё равно моё общение с ним как будто ни на секунду не прерывалось. Это было так странно чувствовать и понимать, что я отнял ладони. Существо действительно соглашалось со мной, и теперь в его голосе преобладали женские нотки.

— Так-так, комендантша сказала, что Розочка его законная жена и, раз она решила свезти совместно нажитые вещи, никто ей не указ. Потом через суд супруги сами разберутся. Ему же, Слёзкину, она хоть сейчас согласна выдать комплект белья и всё, что полагается. У неё только кровати приличных нет, а всё остальное — пусть спустится к кастелянше и получает.

— А кто такой Ряскин? — спросил я.

Мне почему-то подумалось, уж не тот ли это молодой человек, который взял за правило при встрече со мной отворачиваться? (Так и есть, без всякой подготовки — в яблочко.) Оказывается, Петька Ряскин когда-то жил в общежитии, а перед самым моим появлением принёс от Розочки записку, которую положил на стол.

Господи, вот оно в чём дело! Не помня себя, я вбежал в комнату и трясушимися от нетерпения руками стал шарить по столу. Потом догадался включить настольную лампу. Записка была вставлена в уют. Её уже известное содержание: «Не ищи — не найдешь, я сменила паспорт и фамилию», помнится, поразило меня настолько, что я никак не мог взять в толк, для чего она сменила паспорт и фамилию. Когда же смысл прояснился, я до того вдруг устал, что как стоял посреди комнаты, так посреди комнаты и лёг на спину. Тут только я вспомнил о подкожных деньгах — лежать на них было мягко, действительно как на соломенном матрасе. Единственное, что вносило дискомфорт и даже раздражало, — присутствие многоликого существа, которое «обло, огромно, сто-зевно» втиснулось следом за мной в комнату и, не смотря на мои молчаливые протесты, продолжало общение на каком-то подсознательном уровне. Во всяком случае, я безошибочно знал, что существо прежде меня досконально ознакомилось с запиской и ждёт от меня какого-то важного, но сугубо конкретного решения. Именно ожиданием объяснялась его заботливость, с какою были доставлены в комнату кровать, столешница теннисного стола, матрас, одеяло, чистое постельное бельё и даже четыре гранёных стакана на кухонной табуретке.

Я улыбнулась, точнее, внутри меня улыбнулась моя боль, ещё точнее — душа, вдруг уставшая от не-

посильных трудов, которыми она надеялась возместить потерю Розочки.

Непонятно?! Смешно?! «...О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами...» «...О, лебедиво! О, озари!» Не знаю, понял бы меня в эту минуту Велимир Хлебников или нет, но я как дважды два понял его так называемые заумные стихи, которые прежде считал для себя недоступными. «...Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило Лицо».

Я улыбнулся, но ничто не выказало моей улыбки, как лежал, как бы в матрасовке с деньгами, так и продолжал лежать, закинув руки за голову. Остекленело смотрел в потолок, а многоликое существо уже не просто общалось, а увещевало и уславливалось, какое именно мое решение было бы для нас обоих наиболее приемлемым.

Что-то, замаскированное в белье, металлически звякнуло и твёрдо стукнуло, аккуратно поставленное в угол, за развал книг. Потом дзынькнули стаканы. «Четыре стакана, четыре цветочка. В любви интригана синильная строчка». «Ну уж этому своему пророчеству ни за какие шиши не позволю указывать самой жизни», — возмущённо подумал я и резко поднялся на ноги.

Верхняя пуговица на сорочке, как и предвидел ветфельдшер, отскочила и, стукнувшись об пол, подпрыгивая, простучала, точно дробинка.

— Уматывайте, все уматывайте и забирайте свои стаканы, — сердито сказал я и невольно покоршунски приподнял руки, словно крылья.

Многоликое существо распалось на три вполне знакомые личности, которых все женщины нашего общежития, в том числе и Розочка, иначе и не называли, как алкашами с телевизионного завода.

Один из них, по кличке Двуносый, довольно тщедушной наружности, но с длинным-предлинным носом на весьма маленьком лице, в отличие от своих товарищей, был разведённым трижды. О нём ходила весёлая молва, что столько же раз он стрелялся на глазах у своих бывших жён. Высказывалось подозрение, что стрелялся он холостыми патронами. Однако его поступки так часто приводили всех в замешательство, что его не то чтобы побаивались — не хотели с ним связываться. Двуносый знал об этом и умело этим пользовался как дополнительным преимуществом. Кстати, и разговаривал он как-то ненормально. Уставится птичьим носом между глаз, а потом при каждом слове так отдергивает голову, что кажется — он не разговаривает, а долбит собеседника по лбу.

На моё требование «уматывать» он, приотстав от своих товарищей, кисло-кисло сморщился, отчего нос ещё больше выдвинулся вперед.

— Эх ты, мы пришли с сочувствием, — отстучал Двуносый, подергивая головой. — Думали, ты человек, а ты — Митя! Что будешь делать без нас? — неожиданно спросил он, словно мы были давними друзьями.

— Писать, — соврал я.

— Завещание?! Давай-давай, я бы на её месте такого Митю давно бросил, — зло уколол Двуносый, переступая порожек.

— А тебе-то что?!

— А то, что мы с сочувствием к тебе. Я, можно сказать, для твоего блага кое-что припрятал в углу за дверью, а ты — уматывайте. Не по-людски — стопку водочки, вот что сейчас нужно для пользы дела! — совсем уже ласково подытожил он и так звучно щёлкнул по кадыку, который выделялся на горле, подобно носу на лице, что товарищи его, точно на условный сигнал, поспешили вернуться.

Отстегнул я им каждому по трёшке не из какого-то там благородства или других высоких побуждений, просто сунул руку во внутренний карман пиджака и, зная нрав подкожных денег, взял маленькой щепотью, но, когда вынул, на поверке оказался букет из трёшек. Я бы и из пятерок не пожалел, лишь бы отстали. И они отстали. Молча переглянулись и, ошарашенные, обгоняя друг друга, поскакали по коридору действительно как кенгуру.

Захлопнув дверь на щеколду, наконец-то остался один, но, оставшись, не знал, что делать. Точно затравленный зверь в клетке, бегал по комнате из угла в угол, не замечая, что бегаю. В меня словно вселился бес. Десятки самых фантастических идей в мгновение ока рождались в мозгу и так же в мгновение исчезали, уступая место другим, ещё более фантастическим. Я бегал по комнате как бы в погоне за воображаемыми химерами. Наконец споткнулся и упал. От досады пришёл в такую ярость, что стал колотиться головой об пол, не чувствуя ни боли, ни смысла, ничего — только ярость. Потом, наверное, впал в беспамятство и уснул. Когда же пришел в себя, припомнилось увещивание Двуносого, что для моего блага он что-то припрятал за дверью, и ещё — моё лживое обещание писать.

Преодолевая разбитость, встал, поднял опрокинутую табуретку и только потом уже сдёрнул скомканную грязную простыню. Так называемым благом была дустволка двенадцатого калибра. Точь-в-точь с такую я ходил на охоту в девятом и десятом классах. Поначалу мама боялась, переживала, а потом даже гордилась: как-никак, а сын ходит на охоту с отцовским ружьем. Отца я помнил только по фотографиям, он умер от скоротечной чахотки, так говорила мама. А ещё она говорила, что отец сочинял частушки и так задорно исполнял их под гармошку, что его часто приглашали на районные смотры художественной самодеятельности. Он и на фотографиях всегда сидел с гармошкой, а я — у мамы на руках. Наверное, отец был большим неумехой, мама иногда попрекала меня, что весь в него, безрукий. Мне нестерпимо стало жаль маму, забытую всеми под Барнаулом. Всю жизнь она одна и одна... И я тоже неизвестно где. По Розочкиной милости мы скрыли

адрес и пересылали письма через Литинститут. Мы надеялись, что накопим денег и опять как-то вернёмся в Москву, может быть, я поступлю в аспирантуру. «Хорош сын», — с горечью подумал я о себе и, сдвинув на цевьё стопорную кнопку, переломил ружьё.

Из стволов выглянули золотистые доньшки патронов, я вытащил их и, взвесив на ладони, почувствовал убойную тяжесть заряженной картечи. Положив патроны в утюг и вернув ствол на место, долго сидел возле стола, опершись на ружьё.

Мне привиделось: наше село, синие дали, мама, моя работа подпаском, самодельные свирели из ивы, украшенные узорными насечками, солнце, трава, речка, моя первая охота со взрослыми, и вдруг я ощутил как бы толчок в сердце — стихи. То есть не стихи, а предчувствие, ещё не стихов даже, а только их возможности. Меня словно поднимало изнутри, ясно и отчетливо виделось всё и во всех направлениях.

Когда поставил ружьё в угол, точно знал, что сейчас напишу стихотворение. Более того, уже чувствовал стихотворение в себе, нужно было лишь извлечь его через те единственные слова, которые предстояло отыскать в памяти и в правильном порядке записать на чистом листе или белых манжетах — всё равно.

Шептались люди: «Это ж надо,  
Зачем себя он порешил?»  
А месяц красный возле хаты  
Багрянец в окна порошил.  
Осина всё не выпрямлялась.  
Лежало тело на траве,  
Кусочек незасохшей глины  
Зиял на мятом рукаве.  
В созвездьях дальних, синих, вечных  
Блуждал огнями самолёт,  
И раскаленную картечью  
На землю падал спелый лёд.  
И только он, самоубийца,  
Был безучастен ко всему,  
Как будто там... такое снится,  
Что не до этого ему.  
А все над ним... так убежденно:  
«Любить-то можно, но не так!»  
И некто, трижды разведённый,  
Сказал, что умерший — дурак.

Мне известно, что предела совершенству нет. Любой драгоценный камень поддаётся шлифовке и огранке, но согласитесь: чтобы получить бриллиант, надо по меньшей мере иметь алмаз, который прежде ещё надо найти и извлечь из недр. У меня и в мыслях нет оправдывать или преувеличивать литературное значение чьих бы то ни было творений, в том числе и своих. Что есть, то есть, а чего нет — того и считать нельзя. Можно быть Фётом, Фетом, но ещё прежде надо быть Шеншиным.

Набив отцовский патронташ патронами с «гусиной» дробью, я с вечера иду в шалаш, поставленный над самой Обью. Внизу река, среди полей, в сиянье призрачном и строгом, она, как лунная дорога, но тише, слышишь журавлей? Патроны в ствол, и лунный диск уже на мушке покачнулся... но выстрел слуха не коснулся — ты слышишь журавлиный крик? И только дома, за столом, всё вспоминая понемногу, увидишь лунную дорогу, услышишь свой ружейный гром.

\* \* \*

Крыши изб, огоньки, лай собак мне пригрезились, что ли, в логу, всё бегу к ним, бегу и никак я до них добежать не могу.

То ли филин сбивает с пути, то ли манит гнилушками мрак, только чудятся мне впереди крыши изб, огоньки, лай собак.

И опять я бегу, и на снег вместе с инеем — хохот ночной. Разве может сравниться мой бег с тем, как сильно хочу я домой?!

Крыши изб, огоньки, лай собак я почти осязаю в логу и бегу к ним, бегу, а никак я до них добежать не могу.

Последнюю строфу дописывал по инерции. Во мне уже ворочалось другое, главное стихотворение, дыхание которого, даже отдаленное, бросало меня в озноб, заставляло трепетать, словно пламя свечи. Не вставая из-за стола, не прерываясь, стал записывать с лёту.

Проклятые слова поэтов мне не дались, она свела на нет всё красноречье света! — Какая женщина была!

Пусть буду проклят я сполна!  
И мать откажется от сына! —  
Такая женщина одна,  
как песенка у арлекина!

В ней было всё: любовь, хвала и голод страсти тёмных сил! —  
Какая женщина была!  
И я любил её, любил!

Случись ей пожелать во мне  
клятвопреступника хоть раз,  
и я б продался сатане,  
и я, друзья, бы предал вас!

И не сочёл за преступление б,  
что ваши стоили проклятья?  
Если весь мир был дополнением  
всего лишь к ней, как брошка к платью!

В ней было всё: любовь, хвала...  
всё абсолютно было — всё.  
Какая женщина была!  
О, лучше б не было её.

## Глава 7

Внезапный стук в дверь потряс меня. Я вскочил, толком не соображая, что произошло. Властно-требовательный, он ворвался в комнату, словно бы взломав потолок. Меня удивило, что лампочка цела и стены целые, ни одной зияющей трещины. Пока я осматривался, не понимая, в чём дело, стук повторился. На этот раз он не был ни громким, ни властным, ни тем более требовательным. Обыкновенный полночный стук, в некотором роде даже извиняющийся.

Стучала соседка. Когда открыл, действительно извинилась, попросила, чтобы отдал двустоволку. Я беспрекословно отдал. Заранее настроенная на отказ, полная решимости во что бы то ни стало завладеть ружьём, она даже испугалась легкости, с какой оно досталось ей. Потерянно спросила:

— Заряженное?

Я ответил, что разрядил, и, чтобы она не сомневалась, сходил за патронами.

— Ну вот ещё, нужны они мне. — Она заметно повеселела. — Конечно, Двуносый и вся его шайка — подлецы! А ты, Митя, молодец, а твоя — стерва! Ты уж, Митя, не обижайся, я по-простому, — сказала соседка и, двумя руками поддерживая ружье под мышкой (стволом назад), легко и быстро пошла к себе.

Захлопнув дверь, подошёл к столу с намерением продолжить работу, писать. Увы, не хотелось. Чеховское ружьё, всегда стреляющее на сцене, не выстрелило. Его унесли, и вместе с ним словно бы унесли вдохновение.

Но всё же главное стихотворение написано, особенно последняя строка, в которой, как ни крути, ты согласился, что лучше б не было её, Розочки. Ты и соседке не возразил, несмотря на прямое оскорбление. У тебя даже косвенной мысли не возникло — возразить.

Странное резюме...

Я попытался восстать, воспротивиться своему неожиданному заключению, но не смог. И себя, и Розочку я воспринимал не по-настоящему, точно литературных персонажей какой-то уж очень заурядной

пьесы. Я ходил по комнате и всё более и более убеждался, что ружьё Двуносого всё же выстрелило и хотел я того или не хотел, но своим главным стихотворением я наповал уложил — и себя, и Розочку.

Как хорошо было бы заплакать, зарыдать, но ничто не проникало в сердце — мёртвое, пустое пространство. Точно отмороженный, оглядел и опробовал новое ложе (воспроизвёл на нём в некотором роде танец живота). Огромное и достаточно устойчивое, оно не напоминало о сокровенном времяпрепровождении с Розочкой. Единственное, что подумалось, — будь подобная кровать раньше, возможно, мне не пришлось бы спать на рукописях.

Вдруг почувствовал, что всё моё тело зудит, — деньги! Растревоженные танцем живота, они вновь зашевелились. Представив себя в роли рассерженного коршуна, весело рассмеялся. Жильцы принимали меня за рассерженную птицу не из-за денег, а в убеждении, что любой станет таким, если от него уйдёт жена. Мне сделалось до того смешно, что я вынужден был кусать руку, чтобы прекратить смех.

Потом, выворачивая карманы, стал вытаскивать деньги и бросать их под ноги. Вскоре пол возле кровати превратился как бы в капустную грядку, на которой рост кочанов происходил наоборот. То есть, как в замедленной киносъемке, кочаны разбухали, разделялись на листья, а листья, отпадая, расплозились, превращая свободное пространство пола в живой ковер.

Когда разделся до трусов и уже выбирал из одежды последние пресмыкающиеся купюры, в дверь постучали. По голосам, призывающим вести себя потише, понял, что наведался Двуносый со товарищи. Они окликали меня, предлагали уважить, то есть вместе пропустить по стопочке, а между тем, оценивая мое молчание, вполголоса обсуждали: застрелится я или нет? И если застрелится — выбивать дверь или оставить всё как есть до утра? Сошлись, что лучше — до утра. Уже собрались уйти, и тут Двуносый высказал предположение:

— А вдруг он ранетый, как-нибудь выбил глаз и истекает кровью?

За дверью заволновались, вновь принялись окликать меня, стучаться. Я почувствовал, что вот-вот начнут вышибать дверь, громко кашлянул и голосом возмущённо-плачущим потребовал (мне и в самом деле стало жаль себя, раненного, истекающего кровью), чтобы все немедленно убиралось прочь, не мешали сосредоточиться на серьёзном деле.

— Митя, мы поняли, — за всех поспешно ответил Двуносый. И, припав губами к замочной скважине, голосом, полным сочувствия, внятно утешил: — Не переживай, Митя, мы с тобой.

Они искренне желали, чтобы я побыстрее сосредоточился, и, как истинные доброхоты, удалились на цыпочках.

Я тоже, словно лицедей «асися», отошел от двери на цыпочках. Я не знал, плакать мне или смеяться.

Волею обстоятельств я попал в некое братство разведенных, своеобразный профессиональный кружок, и они вправе были ожидать от меня какой-то великой жертвы. Безусловно, самоубийством я бы создал им ореол великомучеников и, в пору беспросветного безденежья, со словами «Надо помянуть бедного Митю» они, не стесняясь, раскошелили бы любую женщину из общегития. Меня только смущало — не потому ли они столь навязчиво настойчивы, что «сображать на троих» всегда удобнее, и, может быть, они жаждут освободиться от меня, чтобы не принимать в свою устоявшуюся «партячейку»? Подлецы! Форменные... Соседка права — шайка подлецов!

Я взял со стола утюг, сел на пол и, пользуясь им как пресс-папье, стал считать деньги. Поначалу считал безо всякого смысла, тут же забывал, что имел в виду: сумму или количество купюр. Потом догадался разложить купюры по номиналу: рубли, трёшки, пятерки. Но и здесь путался и ошибался. В одном из рассказов Андрей Платонов замечает, что даже для несложной работы человеку необходимо внутреннее счастье. Счастья не было, я считал деньги, забавляясь мыслью, что считаю их в то время, когда от меня ушла жена и в одной из комнат в противоположном конце коридора сидят мои доброхоты и захрумкивают огурцами живописные картины, в которых я отправляю себя на тот свет. Я представлял, как они спорят, держат пари на бутылку, каким образом я застрелюсь: направлю стволы в молодое сердце (Двухногий способен на подробности) или зажму зубами и вдрызг разнесу черепушку? Давайте-давайте, мысленно подбадривал я их и, сладостно улыбаясь, продолжал считать деньги. И хотя тут же сбивался, забывал сумму, считал в удовольствие. Это был мой ответ Чемберлену.

Во второй раз «партячейка» подкралась почти бесшумно. Но я засёк её ещё на подходе, потому что ждал, потому что в план моих предстоящих действий входило не пропустить момент.

Я взял утюг и осторожно встал у двери. Доброхоты долго молчали, прислушивались. Очевидно, и у них был план. Наш поединок длился несколько минут. Наконец, переминаясь с ноги на ногу, кто-то из них не выдержал напряжения, нерасчётливо громко пукнул. На него зашикали. Виновник, уяснив, что уже ничего не исправишь, чтобы хоть как-то реабилитироваться, крикнул:

— Митька, сдавайся, это мы здесь — мы!

Почему сдаваться — бог весть! Впрочем, для меня не играло роли, каким образом они себя обнаружат. Главным было, чтобы обнаружили.

— О-о-о! — застонал я, словно лишившись зуба. — Опять помешали! — вскричал отчаянно и для пушей трагичности со всего маху трахнул утюгом о дверь.

В мой план входило, что удар утюгом будет воспринят как удар прикладом, но я не рассчитывал, что, раскрывшись, утюг кладет, словно взведенное

к бою ружье. Счастливая случайность: «разведённые» дружно бежали.

Они бежали по коридору, и слышно было, как, громыхая, падали вёдра и открывались двери, и слышались уже знакомые ругательства, что пора кончать с этой пьяной шайкой подлецов-марионеток. Почему марионеток? Для меня всегда было загадкой. Что-то помимо воли восставало — только вот этого не надо!..

Оставшись один, впервые не чувствовал протеста. «Подлецы марионетки», и я в том числе, даже в большей степени — я, а потом уже они, казалось в ту минуту сверхточным определением, более того, надземно точным. В самом деле, все мои действия похожи на действия куклы, механизм которой вне её посягательств. Единственное, что мне остается, чтобы чувствовать свободу воли, — убедительно объяснять свои поступки. К сожалению, объяснения никогда не убедили Того или Ту Силу, которая испокон держит в своей руке все наши ниточки. Ну хотя бы потому, что вначале дерганье за ниточку, а потом уже наша «глубокомысленность».

Я погрозил кулаком в потолок и, в сердцах плюнув, сел считать деньги. К чему грозить, если заранее знаешь, что махать кулаками вослед глупо.

Шум в коридоре так же внезапно, как и возник, стих. Я считал деньги, зная, что больше ко мне никто не наведается, по крайней мере в эту ночь. Считалось легко и просто, словно всю сознательную жизнь только тем и занимался, что в ночи считал деньги: перематывал их белыми нитками и пачками складывал в утюг. На оборотной стороне листа, на котором было написано главное стихотворение, производил арифметический подсчет, не догадываясь, конечно, на чём подсчитываю. Трёшек насчитал на сумму четыреста восемь рублей, пятерок — триста тридцать пять, а «рванных» — триста семь рублей. Когда все суммы подбил, невольно отбросил лист. Общая сумма взносов литобъединенцев, с вычетом девяти рублей, безвозмездно отданных шайке мерзавцев, составляла ровно тысячу пятьдесят рублей, то есть была гениально предсказана Розочкой. Поистине судьбоносный факт, подтверждающий, что мы — куклы, а наша жизнь — не более чем театр марионеток.

Потрясённый, медленно встал из-за стола, включил свет. Как бы там ни было, а отныне и навсегда я точно знал, что Розочка во много раз выше меня, выше! Во всяком случае, смысл провидческого совпадения лучше всяких слов убеждал — не в пример мне, она ближе к Создателю, ближе!

Вновь захотелось заплакать, и я почувствовал, что заплачу. По старой привычке бухнулся ничком на кровать и так сильно треснулся лицом о столешницу теннисного стола, что невольно застонал не столько от боли, сколько от обиды. Мог бы подстраховаться локтями, мог бы?! «Знал бы, где упадёшь...» Желание поплакать в подушку, которую нашупал далеко в стороне, теперь отозвалось досадой. Ничего

не хотелось, ничего. С закрытыми глазами заполз на матрас, лег на спину и словно провалился в пустоту.

Наутро проснулся с распухшим лицом. На наволочке виднелись следы засохшей крови. Наступил новый безрадостный день, но как-то надо было жить. В умывальной, разглядывая себя, не мог отделаться от ощущения, что тот, в зеркале, не просто не хочет смотреть в мою сторону, а именно воротит морду. Слегка искривлённый одутловатостью нос, вздувшийся на лбу синяк и набрякшие губы придавали лицу выражение какой-то устойчивой брезгливости. Странная гримаса?! Наверное, даже заочная приписка к кружку разведённых неминуемо сказывается на лице обязательным сходством маркировки. Своеобразная печать, штамп — и в паспорте, и на физиономии. Особенно удивительно — что на физиономии. Кажется, весь вечер только тем и занимался, что избегал «разведенцев», а на поверку — на лице те же, что и у них, «достопримечательности». Мелькнула соблазнительная мысль плюнуть на всё и запить со товарищи.

Представил, как вхожу с бутылкой, а вся «партичка» уже в сборе, ждут. Наконец первая, самая страшная, стопка побеждена. Исковерканные лица проясняются, разглаживаются, начинается пьяное братание с поцелуями и непременным проливанием вина и рассола на стол, брюки и даже постель. Окурки и обгорелые спички рассыпаны по полу, мы друг друга за ноги оттаскиваем от стола, лица бесчувственно смешиваются с закуской, и кто-то неприкаянный, поднявшись по стене, горько плачет о своей доле покинутого и так сильно бьёт себя кулаком в грудь, что в конце концов падает навзничь и, тараня стол, вместе с ним опрокидывается в горячее безмолвие.

С позывами отвращения перевернулось всё внутри. Глянул в зеркало, а оттуда — рожа с брезгливой гримасой нахально уставилась: глаза в глаза, не скрывала, что участвовала в моих представлениях.

Вспомнил о деньгах и сразу зашепел, заторопился. Не то чтобы поставил целью — деньгами соблазнить Розочку, нет, я искренне считал, что все деньги, во всяком случае большая часть, принадлежат ей. Повод передать их по назначению показался мне настолько серьезным, что перевесил сомнения, вызванные Розочкиной запиской. Я решил сходить в «Палас-отель».

В «Палас-отеле» никто ничего не знал о медсестре Розе Федоровне Слёзкиной, работающей по скользящему графику. Более того, «скользящий график» до того удивил главного администратора (женщину средних лет), что она не стала препоручать меня сотрудникам, а вместе со мной поднялась к заместителю директора, ведающему кадрами. Однако и зам ничего не знал о Розочке. А «скользящий график» вызвал у него загадочную улыбку, словно я намекал на что-то непристойное. Они с администраторшей понимающе переглянулись, и она высказала предположение, что,

может быть, я ищу одну из тех «девочек», которые по вызову предлагают свои «услуги»?

— Какие услуги? — не понял я.

Вмешался заместитель директора:

— Молодой человек, если вас интересуют девицы легкого поведения, вы ошиблись адресом, обращайтесь в милицию. У нас Слёзкина не работает и никогда не работала. Скользящий график — придумают же!

Он осуждающе усмехнулся и стал разговаривать с администраторшей о своих гостиничных делах, словно я уже ушёл или превратился в пустое место.

Меня, конечно, задела за живое лощёно-холёная усмешка зама, но ещё больше — предположение, что мою жену надо искать среди девиц лёгкого поведения. Разумеется, рассудили по моей физиономии... «Сам виноват, навожу тень на плетень», — подумал я и решил, что идти в милицию не нужно, Розочка не одобрит.

В тот день, пятнадцатого августа, я обошёл все гостиницы города, даже в обкомовской побывал — бесполезно. Никто ничего не знал о медсестре Розе Фёдоровне Слёзкиной. Наученный опытом, о её скользящем графике не упоминал.

В общежитии состоялся нелюбезный разговор с Двуносым и со всей его шайкой. Я пообещал отдать ружьё только в том случае, если получу адрес Петьки Рясина, того странного типа, что взял за правило при встрече со мной отворачиваться.

— Имейте в виду, вы меня ещё не знаете, — предупредил я. — Теперь мне нечего терять.

Вечером, забрав ружьё, сказал соседке, что продам его. Она с радостью вернула, но высказала опасение, что на почве ревности бывают ужасные случаи, — а вдруг Розочка вернётся, наматает соплей на кулак и прибежит?!

Меня несколько не оскорбили ни подозрение, ни грубость. Напротив, сама того не сознавая, соседка убедила меня в том, в чём никогда бы не убедила, если бы поставила целью убедить, — я вдруг поверил, что Розочка вернётся и всё у нас будет как прежде, надо всего лишь ни при каких обстоятельствах не менять адреса и ждать, всегда быть готовым к встрече. И ещё — писать и писать. Страдания закаляют душу, а работа — лучшая крепость, в которой можно и должно укрываться от всех невзгод.

Я почувствовал радость оттого, что, подобно графу Льву Николаевичу Толстому, занимаюсь литературным трудом, а подкожные деньги — подготовлю коллективный сборник, и мы, литобъединенцы, издадим его за свой счёт. (Тысяча пятьдесят рублей по тем временам были очень большие деньги.)

## Глава 8

Я решил реабилитироваться перед Розочкой, посвятить ей новое стихотворение. Думалось о ней с нежностью, думалось чисто и высоко, но писалось сти-



хотворение трудно, каждое слово приходилось нащупывать как бы в пустоте. Закончил далеко за полночь.

## АНГЕЛЫ ЛЮБВИ

Розочке

У каждой любви есть ангелы,  
умиротворенные, как деревни,  
их крылья потрескивают, как факелы  
зелёных прохладных деревьев.  
У озера Лебединого,  
танцующих в полумгле,  
я видел их не картинно,  
я видел их на земле.  
И — поверил в мечтания,  
их сокровенность тая,  
что к озеру прилетает  
Лебедь одна моя.  
Конечно, хотя я не принц,  
но в этом у всех один принцип,  
её отыскав среди множества лиц,  
я сам стал принцем.  
И как-то все интересно —  
на что уж с базара лук  
она принесёт, кладёт на место,  
а он — как цветы из рук!  
Такое — так просто не может,  
ангелы существуют.  
И в чувствах быть нужно поостроже,  
они без любви тоскуют.  
Но если вы мне не верите,  
то сами сходите туда.  
Вас ждут белокрылые лебеди,  
вас ждут там они всегда.  
Вам драться придется с волшебником,  
там силу любви измерите.  
Помогут любящему ангелы,  
и вы в них, как я, поверите!

Утром набело переписал стихотворение и, чтобы впустую не предаваться рефлексиям (пойдёт — не пойдёт), отправился в редакцию. Никогда (ни до, ни после) так страстно не желал публикации — и чтобы непременно с посвящением. При самом лучшем раскладе оно могло увидеть свет только в следующем номере (во вторник, двадцатого августа). Но ещё как-то надо было убедить Васю Кружкина, ответственного секретаря (в понедельник и пятницу редактор появлялся в газете после обеда), что стихотворение политически грамотно и его не стыдно предлагать в полосу.

Вася Кружкин, по кличке Еврейчик, до того, как стал ответственным секретарем, ведал отделом спорта. Когда-то, очень давно, он играл за сборную политехнического института по волейболу и часто приносил в редакцию, как нештатник, информации о

спортивной жизни. В одной из заметок «Кто заменит дядю Гришу?» он прямо поставил вопрос о тренере волейболистов политехнического. С уходом дяди Гриши на заслуженный отдых волейбол оказался в институте не в чести.

Заметка имела общественный резонанс, её заметил первый секретарь областного комитета ВЛКСМ. С его лёгкой и, что не менее важно, влиятельной руки Вася Кружкин был взят в штат газеты корреспондентом отдела спортивной жизни.

Двухметрового роста, белокурый и курносый, он вполне мог быть натурщиком, с которого один в один можно было бы писать портрет русского богатыря-забияки Васьки Буслая. С годами, погрузнев, он и на Илью Муромца потянул бы. Однако сам Вася Кружкин, при всей широте и доброте характера, начисто отрицал свои славянские корни. На одной из совместных вечеринок комитета комсомола и редакции он сообщил «по секрету», что его бабушка по материнской линии чистокровная еврейка, страшно умная женщина, всю жизнь, не выезжая, прожила на исторической родине, в Биробиджане. И ныне там. Он, Вася Кружкин, тоже писался бы евреем, если бы не притеснения по анкетным данным.

Вскоре Васю хотели уволить из газеты за творческую несостоятельность (уметь писать информации — маловато даже для корреспондента «Спортивной жизни»), но он опередил «мнение сверху». Как только заведующий отделом комсомольской жизни побеседовал с ним, Вася, недолго думая, прошел по всем редакциям газет (благо в одном доме) и сообщил во всеуслышанье, что от него хотят избавиться по пятому пункту анкеты.

— Откуда-то прознали в кадрах, что я — еврейчик, — простодушно жаловался Вася, чем привёл в смятение многих сотрудников, у которых с анкетными данными всё было в порядке и которые, в отличие от Васи, считались признанными золотыми перьями.

В общем, в довольно короткий срок произошли какие-то подземные, невидимые глазу смещения, натяжения и разломы, в результате которых Вася-Еврейчик неожиданно для всех был назначен заведующим отделом спортивной жизни, а позже и ответственным секретарем газеты.

Последнее назначение напрямую связывали с хорошим переводом первого секретаря обкома комсомола на другую работу. Он возглавил отдел культуры и пропаганды обкома партии. В одной из легенд о Васе муссировалось, что после своего назначения заведующим собрал на совещание в обком всех редакторов и зачем-то пригласил Васю. Когда совещание закончилось, заведующий как бы между прочим поинтересовался:

— Ну что, Василий, поддерживаешь связь с исторической родиной? Бабушка что-нибудь пишет?

— Сообщает, что плохо, — потупившись, ответил Вася.

— А в чём дело? — заинтересовался завотделом.

— Притесняют. Из коренного населения, может быть, и осталась одна бабушка на весь Биробиджан.

— Во как?! — удивился завотделом. — Перегибы, обычные перегибы по скудоумию.

Он резко сменил тему разговора, сказал, что в ближайшее время Василия пошлют в Высшую комсомольскую школу на курсы ответственных секретарей, так что уж пусть постарается.

Когда Василий ушёл и разошлись все редакторы, заведующий отделом культуры и пропаганды обкома партии так громко разговаривал и весело хохотал, что секретарь — машинистка встала из-за стола, чтобы прикрыть дверь. Она думала (она сама так якобы рассказывала), что заведующий с кем-то по телефону обсуждал кандидатуру Василия Кружкина как претендента на учёбу в Москве. Оказалось, нет, сам с собой разговаривал, восклицал: «Ну и Вася, ну и Кружкин! Кому хошь сто очков даст вперед, молодец!» Увидев секретаршу, вначале хотел объяснить, а потом махнул рукой: «Закрывают, закрывают, здесь побывал Вася!» — и опять стал громко смеяться, расхаживая по кабинету.

К удивлению многих журналистов, Вася обнаружил недюжинные способности в вёрстке и макетировании. Он, словно пианист-профессионал, чувствующий музыку кончиками пальцев, мог на лету безошибочно определять количество строк в материале без всякой измерительной линейки. Единственный недостаток Васи — полнейшее непонимание политического момента. Но тут его выручали редактор и неукоснительная регламентация: первая и вторая полосы — для сообщений обкомов партии и комсомола (если нет срочных тассовских материалов), а уж третья и особенно четвертая полосы — спорту, просвещению, литературе, искусству и прочему, прочему...

Всё это как-то само собой припомнилось перед встречей с Васей, и я решил, что прежде всего поинтересуюсь, есть ли свободное место на четвертой полосе.

Свободного места не было. Я потоптался возле Васиного стола, сплошь заваленного газетными материалами, и уже хотел уйти, но он остановил:

— Кто это тебя так?.. — указал на опухший нос.

— Упал, — сказал я.

Он подал фотографию, на которой строго контрастно была проявлена смеющаяся старшеклассница в белом фартуке, пускающая мыльные пузыри.

— Оцени как поэт.

— Отличный фотоэтиюд, просто замечательный! — искренне восхитился я. (Меня поразили окна домов и машины, отражённые в мыльных пузырях.) — Кто автор?

— Коля Мищенко, Николай Иванович. Знаешь такого? — в свою очередь поинтересовался Вася.

— Знаю, визуально, но лично не знаком, — ответил я.

— Великолепный фотоальбом подготовил о нашем городе — зарубили на корню.

— Почему?

— Известное дело — притесняют. Обычные перегибы...

Зная, что у Васи под всякими перегибами подразумеваются притеснения по пятому пункту анкеты, возразил, что этого не может быть: во-первых, Иванович, во-вторых, у него паспортные данные на лице, не спутаешь — чистокровный русич.

Вася Кружкин встал из-за стола, взял чашку с чаем, стоявшую на тумбочке, и сразу в глаза бросился его гигантский рост (чашка, которую он держал на уровне груди, замаячила у меня над переносицей).

— Я тоже, как известно, Иванович...

Странно, но я впервые слышал, что он — Иванович. В памяти Василий Кружкин ассоциировался с Васей-Еврейчиком, но чтобы с Ивановичем — никогда!

Чтобы не пролить чай, Вася осторожно развёл руки, приглашая внимательно посмотреть на него. (Богатырское телосложение, круглолицесть, голубые глаза, веснушки на вздернутом носу — всё это никак не вязалось с тем, что он — Еврейчик.)

Мне нечего было сказать, и я лишь промычал:

— Да-а!

Соглашаясь со мной, и он растянуто повторил: «Да-а!»

Глупейшая ситуация, чтобы хоть как-то разрядить её, я возмутился:

— Какие обычные перегибы, если вся пресса в руках у прорабов перестройки?!

Вася загадочно и счастливо улыбнулся и, отхлебнув чай, сменил тему. Вынул рассказать, почему я интересовался свободным местом на четвертой полосе. Я и думать не думал, что мое упоминание о прорабах перестройки он воспримет на свой счёт и ни больше ни меньше — как заслуженный комплимент.

Когда по его настоянию машинистка перепечата-ла моё стихотворение и он самолично собрал на него отзывы всех завов нашей газеты, а потом попросил зайти к нему (я как раз опустошал ящики своего редакционного стола, забытые творениями литобъединенцев), первое, что он сказал, касалось именно прорабов перестройки и именно того, что вся пресса хотя и в их руках, не всё так просто, как кажется. (Вася улыбнулся, продолжая отхлёбывать чай, то есть с тою же улыбкой, но на этот раз вместо загадочности в ней проскальзывал трепетный свет многозначительного знания.) Вася стал распространяться о том, что мы привыкли жить по старинке и всякое новаторство нам — как нож к горлу. Да, пусть он — Еврейчик. Ну и что? Он гордится этим.

Сев возле Васиного стола, я увидел, что моё стихотворение уже размечено для засылки в набор. Это казалось невероятным, всё во мне возликовало — во вторник Розочка прочтёт посвящение и, вполне возможно, вернётся, и мы помиримся!

Васины разглагольствования я слушал вполуха. Загодя решил во всём соглашаться с ним. Наверное, поэтому, неожиданно даже для себя, вдруг встал боком и поддакнул, что и я горжусь.

Вася остановился (ходил по кабинету), и мы долго и как-то бессмысленно смотрели друг на друга: я — перпендикулярно в потолок, а он — вниз, как бы на носки своих полуметровых кроссовок. Тут я понял, что, слушая Васю вполуха, чересчур загружаю себя — надо не поддакивать, а просто бездумно молчать. И я молчал.

Между тем, возобновив хождение по кабинету, он стал рассказывать о своей бабушке в Биробиджане, которая, как Арина Родионовна, ещё в детстве прочла ему всего Самуила Яковлевича Маршака.

Он опять остановился и, уронив голову на грудь, чтобы не выпускать меня из поля зрения, стал читать наизусть, точнее, декламировать:

Шесть  
Котят  
Есть  
Хотят.  
Дай им каши с молоком.  
Пусть лакают языком,  
Потому что кошки  
Не едят из ложки.

— Замечательные стихи, просты как правда! — восхищенно сказал я и, встав, крепко пожал руку Васе-Еврейчику. — Спасибо!

Потом я снова сел и сделал вид, что не хочу смущать Васю, который действительно смутился моему рукопожатию, покраснел от удовольствия, точно ребенок. На самом деле, поддерживая голову, словно роденковский мыслитель, я мог беспрепятственно сосредоточиться на своем стихотворении, которое лежало по другую сторону стола. Помимо технической разметки, бросалась в глаза так называемая правка — вычёркивания.

Странно, что ему, а точнее, консилиуму заведующих отделами не понравилось? (После шести котят, которые есть хотят, я был уверен, сам Вася вряд ли бы решился на вычёркивания.)

Настроили, думал я о нём, а он в это время продолжал смотреть на меня из-под потолка. Чувствуя его взгляд, нарочно почесал темя — пусть думает, что и я думаю, потрясённый его бабушкой, «Ариной Родионовной».

Молчание затягивалось, тем не менее поднимать глаза к потолку не хотелось. И всё же пора было поддерживать разговор, пора. Я вторично почесал темя и со всей доступной мне глубокомысленностью изрёк, глядя в стену:

— Маршак — это Маршак!

— А Осип Мандельштам, а Константин Симонов, а Борис Пастернак, а Иосиф Бродский, накопец! — не по-кружкински быстро включился Вася.

Удивительно, но банальнейшей репликой я неожиданно попал в самую сердцевину Васиных мыслей. Мне даже стало неудобно, почувствовал, что уронил себя перед Васей, — всё же не он, а я пытаюсь стать поэтом. Позабыв о последствиях, встал боком и сказал бесстрастно, словно робот:

— Лично я всегда считал названных поэтов русскими.

В глазах Васи мелькнула некая тень. Он обошёл стол, молча сел в кресло. Нет-нет, это была не тень испуга, скорее, тень тревоги и ещё чего-то, что не имело слов, но она отозвалась во мне жалостью, и, уступая ей, я бросил Васе спасательный круг:

— А что, разве и они (чуть не ляпнул — «из Биробиджана», но вовремя спохватился), разве и они как ваша бабушка по материнской линии?

Вася не сказал ни «да», ни «нет», а только, закрыв глаза, согласно кивнул. Потом, перейдя на «вы», спросил:

— Вам никогда не приходилось задумываться над тем, что все они (а Мандельштам этого и не скрывал) во что бы то ни стало хотели стать именно русскими писателями? Так сказать, голубая мечта...

— Нет, — сказал я. — У нас полнейший интернационализм, рабоче-крестьянское взаимопроникновение всех наций и народностей в одну международную нацию — советский трудящийся.

Разумеется, ответ был заученным и в памяти всплыл потому, что Васин вопрос показался подозрительным, задай кто другой — я бы воспринял его как провокационный. Но, слава богу, задал его Вася по кличке Еврейчик, всей своей жизнью наглядно демонстрирующий взаимопроникновение. Отбарабанив ответ, я подивился: надо же, как четко сработал инстинкт самосохранения!

Завонил телефон, звонил дежурный из типографии. По разговору я понял, что на свободное место на первой полосе Вася планирует фотографию школьницы и мое стихотворение.

Я не верил своим ушам — неужели на первую полосу моё стихотворение и фото школьницы, пускающей мыльные пузыри?! Это казалось невероятным.

Однако его рассуждения о новаторстве... Если он считает себя прорабом перестройки — вполне возможно... Но есть ещё редактор... Я пытался хоть как-то урезонить поднимающуюся из глубин радость, но — тщетно. Воображение услужливо подсовывало ликующую картину Розочкиного возвращения.

Вася положил трубку и, словно отвечая на мои мысли, сказал: до вторника он за редактора и готов рискнуть: поставить мое стихотворение на первую полосу при условии, что я заменю название и посвящение.

Радости как не бывало. Мною овладела апатия, публикация теряла смысл. А Вася доказывал, убеждал, что всякая смелость имеет границы — «Ангелы...» в комсомольской атеистической газете, да ещё на первой полосе?! «Нас не поймут», — горячился

Вася. А мне было наплевать, я предложил вообще убрать название. Он воспротивился:

— Название тянет на пять строк, если убрать — дырка будет, которую ничем не закроешь.

Сошлись на названии «У Лебединого озера».

— Конечно, просто «У озера» было бы лучше, — сказал Вася. — Но оно вызовет ассоциации не в нашу пользу, потому что с подобным названием есть старый фильм Сергея Герасимова о Байкале, и получится, что поэтическая Лебедь — Лебедь байкальская, а этого не надо.

Вася явно показывал не свою эрудицию — заведующих отделами.

— Разумеется, не надо, — согласился я. — Тем более что Лебедь — манчестерская.

Почему так сказал, бог весть! Вася никакого внимания не обратил на мою иронию, а то бы, наверное, воздержался от сравнений.

— Розочке!.. Согласись, звучит будто «козочке»! Вот посвящение действительно надо убрать.

— Ни за что, — раздражённо сказал я. — В крайнем случае давай заменим инициалами — Р. Ф. С.

Вася отмёл инициалы, они напомнили ему рассказ Гайдара под названием «РВС». В общем, торг не удался. Мы расстались довольно холодно, я был уверен, что стихотворение не напечатают. И слава богу, думал я, включу его в коллективный сборник. Я притащил из редакции едва ли не мешок рукописей, которые, не откладывая, решил перелопатить и, отобрав лучшее, засесть за составление сборника. Повторюсь — тысяча пятьдесят рублей по тем временам были очень большие деньги, и издаться за счёт авторов представлялось вполне возможным.

## Глава 9

Почти две недели, до следующего заседания литобъединения, я корпел над рукописями. Сидел на хлебе с молоком. Если кто вздумает сочувствовать — напрасно, на хлебе с молоком я вырос. Кроме того, Розочка оставила почти непочатую бутылку растительного масла, и для разнообразия я поджаривал черствый хлеб, а потом ломтиками крошил в миску с молоком, и получалось что-то в виде супа с гренками.

В общем, в питании я не знал недостатка. С тишиной и спокойствием тоже не было проблем: никто не тревожил. Вообще с понедельника началось что-то чудесное, даже шайка алкашей куда-то исчезла с утра, а по вечерам буквально все ходили на цыпочках и избегали друг друга, чтобы ни о чём не разговаривать. Земной рай, да и только: сиди и трудись, никто не мешал.

Единственное, в чём можно было посочувствовать, — чтение рукописей. Залежи, которые я извлёк, представляли собой целинный архив, к которому уже много лет не прикасалась рука человека.

Вначале я попытался рассортировать произведения по жанрам — не удалось. Основная масса творе-

ний не укладывалась ни в какие жанры. Романы на трех страницах, повести — на четырёх и рассказы с пересказыванием каких-то космических событий на какой-то планете Ялзем (Земля) среди «в натуре безголового народа (без голов)» на ста пятидесяти страницах приводили «в состояние такой глубокой задумчивости или краткосрочного анабиоза», что, очнувшись, я какое-то время действительно чувствовал себя безголовым ялземцем. Кстати, краткие разъяснения в скобках возле каждого иноземного слова просто умиляли своим неукоснительным присутствием.

В произведениях приключенческого жанра (я рассортировал прозу по направлениям) главными действующими лицами почему-то были представители творческой интеллигенции, причём обязательные поэтические личности. Это настолько поразило, что для приключений выделил отдельную папку. Я был уверен, что в свой срок внимательное чтение порядком позабавит меня.

Разобраться в поэзии вообще не представлялось возможным. Ни одна поэма не называлась собственно поэмой, а стихотворение стихотворением. В подзаголовках предпочтение отдавалось в основном музыкальным жанрам: от баркарол и интермеццо до ораторий и симфоний.

Особенно сбивали с толку либретто для совершенно неизвестных произведений, которые представлялись авторами либретто как произведения широко известные и очень великие, но ещё не написанные. Одно из таких сочинений (оратория для академического театра) заинтересовало. В письме (да-да, письме), предваряющем будущее произведение «Песня песен диктатуре пролетариата» или «Дуэты вождей и великих отщепенцев», автор, Незримый Инкогнито, сообщал соучастнику, то есть предполагаемому соавтору, что данное произведение однажды приснилось ему на новой кровати. Дальше автор спрашивал соучастника, имеет ли он поэтические и музыкальные способности, а главное, знает ли ноты. Если «да» — читай либретто. Если «нет» — передай тому, кто уже овладел нужными способностями. (Знание нот обязательно.)

Конечно, я не имел морального права читать либретто, но любопытство пересилило — перелистнул страницу.

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

### Картина 1. ВОЖДИ И ВРЕМЯ

Поляна — сцена. Тёмный лес: столетние дубы, кедровые и другие могучие деревья — это пролетарии всех стран. Только с одной стороны — редкий мелкий кустарник — зрительный зал. Слышится шум ветра в макушках деревьев. Возникает тревожная музыка — пиши нотами. Тревога усиливается — опять нотами. Вдруг всё смолкает — ждёт. Выглядывает из-за туч солнце. Издалека едва различимо приближается браваурная музыка — пиши нотами. Она

всё ближе, ближе. Из чащи других могучих деревьев (пролетариат Западной Европы) выходят Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они подходят к редкому мелкому кустарнику, останавливаются — бравурная музыка пропадает. Пиши словами и нотами арию Маркса, потом арию Энгельса: «Бродит по Европе призрак коммунизма». После сольных исполнений поют дуэтом о великом могильщике капитализма — опять словами и нотами. Пение закончилось, вожди, оглядываясь, уходят (они хотят увидеть тех, кто придёт им на смену). Мелькнула тень Плеханова, затем — Ленина. Плеханова узнать почти невозможно. Ленин — узнаваем. ЗАНАВЕС.

## Картина 2. ВРЕМЯ И ВОЖДЫ

Тёмный лес. Поляна. Светает — заря. Приближается песня «Вихри враждебные» — только ноты. Лес зашумел, особенно кедровник, из него стройными шеренгами выходят бравые молодцы. Они одеты — кто во что. По железной поступи узнается, что это революционные матросы и солдаты — смелые дезертиры со всех кораблей и фронтов. Впереди Ленин в пролетарской кепке, с красным бантом в петлице, на плечах огромный венок из роз. За ним — любимец вождя Иудушка-Троцкий, Свердлов, оба в коммунарских кожанках, Дзержинский в длиннополой шинели. Сталина пока не видно. «Вихри враждебные» сменяются нотами «Марша энтузиастов». Шеренги делают два шага вперёд, один назад так, что вновь скрываются в кедровнике. Опять два шага вперёд и один назад. (Намёк.) Таким способом, буксуя, шеренги приближаются к кустарнику. Оттуда уже хорошо видно, что шеренги как-то по-детски преувеличенно припадают на левую ногу. (Ещё намёк.) Марш стихает. Из чащи других могучих деревьев выдвигается огромное панно с изображением картины Гойи «Обнаженная Маха». (Контрапунктом — намеки и полунамеки, подтекст мирового масштаба.) Ленин исполняет арию об идеалисте Беркли, философски раздевает метафизика Маха и предсказывает делимость электрона. Он слегка картавит, рвётся в бездонную высь серебряная горошина революционного Соловушка — быстрее пиши слова и ноты. В кустарнике многие уже плачут. Вводи Гегеля и Фейербаха, прими подсказку: «Но обнаженный Мах и Маха не ведали про Фейербаха. Не тем, кем надо, увлекались и в электроне обозначились». Ария заканчивается, но ещё не смолкла. Из кедровника доносится нарастающий хор, в него вливаются голоса шеренг. Исполняется кантата о том, что вчера восставать было рано, завтра — поздно, нужно брать Зимний сейчас, как стемнеет. Ленин не участвует в общем хоре, но по глазам видно, внимательно слушает, на лице играет радостное изумление, он доволен — пиши кантату. Она смолкает. На солнце набегают туча. Мрак. Пауза. Неожиданно вперёд выступает Иудушка-Троцкий, загоразивает

вождя мирового пролетариата. Исполняет арию, в которой выдает начало восстания, — пиши. (Слова и ноты до невозможности плохи. Отвратительный исполнитель раз за разом дает петуха. В кустарнике справедливое негодование.)

Внезапно на поляну вырывается солнечный луч. Он освещает правого крайнего в полувоенном френче. (Аллегория.) Запоминаются усы и ленинский прищур в кавказском исполнении. Не отрывая взгляда от упивающегося собой паршивого солиста (самое время снести с плеч его поганую башку), правый крайний медленно вытягивает шашку. Потом резко по рукоять вгоняет в ножны — нет, исторически рано. Луч исчезает. Ноты какофонии и очередного петуха Иудушки сливаются воедино. Выносить это уже нет сил, надо положить конец. Из-за темного кедровника раздаётся спасительный выстрел «Авроры», он воспринимается как залп. В нем рассеялось гнусное пение Иудушки. Торжественная барабанная дробь — пиши. Вновь над поляной солнце, много солнца. Ленин, как и прежде, впереди шеренг, шеренги размахивают алыми стягами. Дробь затихает. Революционный Соловушка поёт песню, которую пели дуэтом Маркс и Энгельс. Её подхватывают шеренги бравых молодцев. Песня окрепла. В кустарнике шевеление, вначале несмелое, потом все встают, песня становится единой: «Мы наш, мы новый мир построим!..» Бурные аплодисменты. Слышатся здравицы. Апофеоз. ЗАНАВЕС.

Действие второе имело общий заголовок «Дуэты вождей» и начиналось картиной «Ленин и Сталин». После картины «Хрущёв и Брежнев» сценарий внезапно прерывался, автор обращался ко мне как к предполагаемому соавтору:

«Дорогой товарищ соучастник! Теперь мы соратники по перу. Если ты работал с моим текстом от души, то сейчас оратория должна насчитывать не менее тридцати страниц, посчитай!

Получилось меньше?! Это плохо, ты должен был увеличить мой текст как минимум втрое. Положи его на место и исчезни — ты работал не от души. Я буду разговаривать с тем, кто — от души.

Дорогой Незримый Друг! У тебя получилось больше тридцати страниц чистого текста — молодец! Но ещё рано расслабляться, впереди ещё сорок пять ненаписанных страниц оратории. Так что давай закатывай рукава. Ты рассержен моими понуканиями? Не надо. В конце оратории тебя ждёт искреннее письмо, прочитай которое раз и навсегда поймёшь моё Великое Бескорыстие. (Пиши ноты легкой музыки, аэробики. Зачем? Читай дальше, включайся в творческий процесс.)».

Я не стал читать картины дуэтов Андропова и Черненко, Горбачёва и Ельцина. Меня заинтересовало искреннее письмо «Незримого Друга», заставляющее раз и навсегда понять его «Великое Бескорыстие». Листая страницы, единственное, на что об-

ратил внимание, — в дуэтах великих отщепенцев вместо известных исторических личностей фигурируют некие Кирил (с одним «л») и Кизиф (вместо Сизиф, что ли?..), к ариям которых в эпилоге прислушивается сам Господь. Имена отщепенцев казались весьма загадочными, пока не догадался их прочесть справа налево. Не понимаю, зачем Сахарова и Солженицына надо было зашифровывать?! Впрочем, ответы на все свои вопросы я нашёл в заключительном письме автора.

«Дорогой Подельник! Ты понял, почему я отбросил — товарищ соучастник, соратник по перу, незримый друг? Молодец! Если оратория получилась такою, какую приснилась на новой кровати, — она будет воспринята как преступление века. Гордись, ты обречён на гонения: ссылку, тюрьму, а при очень уж благоприятных обстоятельствах, возможно, и на гражданскую казнь. Да, завидная творческая судьба! (Лучшие произведения всех времён и народов поначалу и не воспринимались иначе как в штыки, это уже потом приходило признание.)

Дорогой Подельник, готов ли ты пройти весь свой путь до конца?! Прекрасно! Я и не сомневался... а потому полностью отказываюсь от своего текста оратории в твою пользу. Теперь ты один пойдёшь в кандалах в светлое будущее. Но не зазнавайся — преступление только созрело, но ещё не состоялось. Написать ораторию — это меньше, чем поддела. Поставить ораторию на сцене какого-нибудь академического театра — вот презумпция, к которой надо стремиться. Иди, ты справишься: это мне тоже приснилось. Прошу об одном, если тебе захочется поделиться со мной гонораром, знай, что на премьеру я буду сидеть в партере, в третьем ряду, на третьем месте. Когда тебя будут чествовать по окончании оратории (так всегда делается), ты можешь лёгким кивком и простёртой рукой в мою сторону поднять меня с места и сказать во всеулышание: вот человек, который первым поверил в мое эпическое полотно, поаплодируем ему! Это и будет мне гонораром, остальное тебе — Дивный Гений. До встречи на премьеру! С уважением, твой Незримый Инкогнито».

Великое Бескорыстие вначале изумило — надо же, встретимся на премьеру, будет сидеть в партере, в третьем ряду, на третьем месте. Потом привело в трепет: это что же... вещий сон на новой кровати?! Прорицание гонений?! Ничего себе завидная творческая судьба — в кандалах... в светлое будущее!

Привиделись: завывающий февральский ветер, змеистая позёмка бурана, отсекающая ноги впереди маячащим спинам, ржавое позвякивание кандалов в месиве снега — и невольно почувствовал озноб: ещё свои пророчества не расхлебал, а уже, спасибо, новые преподносятся.

Осторожно отложил в сторону ораторию — эти Незримые Инкогнито на кого хошь могут беду накликают.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### Глава 10

Мы все проходили историю древнего мира, Средневековья и конечно же новую историю. Нам вдолбили в голову: первобытно-общинный строй, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический и даже азиатский! Впрочем, азиатский, следующий (по Марксу и Энгельсу) сразу же за первобытно-общинным строем, почему-то пропускали, и, наверное, правильно делали, в одном только коммунистическом строе столько этапов и ступеней от низшего к высшему, что можно голову сломать. И ломали...

В общем, все эти этапы постепенного перехода от одного к другому до того запутали меня, что я поневоле стал искать такие формы восприятия человеческой сущности, которые помогали бы раскладывать мои, пусть и незначительные, знания по полочкам. Да-да, чтобы можно было извлекать их в любое время для своего, так сказать, домашнего пользования.

Как ни странно, но помог мне в этом директор нашей сельской школы. Он преподавал нам русский язык, ботанику, историю и географию. Как сейчас помню его круглые взблёскивающие очки, пеликаный подбородок, в котором он утапливал свою бороду; осторожно поводя головой, как бы набычиваясь, он раз за разом почёсывал изнутри плотно сидящие, как пуговицы, фурункулы. Из-за этой болезненной привычки он часто произносил вместо буквы «и» — «ы», чем приводил нас в неопишуемый восторг. Я просто захлебывался, плакал от смеха.

— Слёзкын, выйды ыз класса!

Его профессорская рассеянность, точнее забывчивость, лучше всяких свидетельств убеждала нас в его недюжинном уме. Так, на уроке ботаники он мог преподать урок русского языка или географии. На истории мог оценить знания по ботанике. А иногда все четыре предмета он так искусно смешивал вместе, что мы уже и не знали, по какому из них получали отметки.

— Итак, босяк Слёзкын, что ты можешь сказать нам о Рыге?

На школьном приусадебном участке мы в большинстве работали босиком и на его подковырки не обижались, напротив, мы воспринимали их как верх остроумия.

— Рига — это сельхозстроение с печью для просушки необмолоченного зерна. Иногда ригой называют простой сарай.

— Кол, товарищ Слёзкын.

— Кол — заостренная толстая палка или столбик, к которому прибиваются жерди, например, в деннике.

— Я имел в виду не кол в деннике, а единицу в твоём дневнике, потому что Рыга — столица Латвийской Социалистической Республики.

Словом, благодаря директору школы я сделал в институте три важнейших открытия, определивших мое сегодняшнее понимание не только всей мировой литературы и искусства, но и понимание творческой личности, создавшей тот или иной шедевр.

В детстве и юности мы чувствуем себя вечными, как боги, — бессмертными. Мы торопим время, но «...медленно мелет мельница богов, некуда спешить бессмертным». А мы спешим поскорее вырасти, поскорее окончить школу, в сущности, спешим поскорее стать большими. Отсюда и непоколебимое убеждение, что мир с каждым прожитым днём движется от худшего к лучшему. Вот он, первый постулат: детству и юности присуще мыслить, что мир движется по спирали, как бы по винтовой лестнице, от низшей ступени к высшей.

Потом наступает молодость и вслед за нею или с нею — зрелость. Кажется, всё доступно и всё возможно, не хватает только времени, уж слишком быстро оно бежит, порою так, что и не угонишься. Но всё же там, где за ним поспеваешь, вдруг бросается в глаза, что ты в некотором смысле похож на белку в колесе. Как бы резво ни бежал — бежишь по кругу, да и весь мир перед тобой похож более всего на замкнутый круг. Поневоле вспомнишь Екклезиаста: «Идёт ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои». Так и ты в своей круговерти. А отсюда и убеждение: мир движется не по спирали, а по кругу — вот вам и второй постулат. «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».

Но и у зрелости есть предел. И хотя «...не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием», вдруг начинаешь ощущать, что ты не вечен, что ты не поспеваешь за этим сумасшедшим временем. А ведь кажется, ещё вчера ты торопил время, спешил поскорее стать большим. Да, вчера, ещё вчера солнечный день был полон птиц, а звёзды были в ночи крупными, как яблоки! Да-да, ещё вчера мир сиял от множества причудливых красок, а сегодня он сер и уныл. Куда, куда все подевалось?! И уже твой сосед-пенсионер сердито стучит палкой и топаёт ногами на отвратительную молодёжь, у которой нет никакого уважения к старшим, а стало быть, нет ни стыда ни совести. В конце концов мы приходим к печальному выводу: всё вчера было лучше, чем сегодня, — и молодёжь, и мы сами. И леса, и реки были чище — вот в чём дело! А отсюда и окрепшее убеждение: мир действительно движется по спирали, как бы по винтовой лестнице, но не от низшей ступени к высшей, как мы думали в детстве и юности, а, наоборот, от высшей к низшей. От лучшего к худшему движется мир. Мы, ангелами рождённые, всей своей жизнью спускаемся с небес на землю и даже более того — в землю. Вот вам и последнее мое открытие, так называемый третий постулат: мир движется к своему концу.

Три постулата, три открытия, три полочки, на которых разместились для меня вся художественная литература, творения искусства, трактаты философов и богословов, да что там — весь мир всех времён и народов.

С высоты первого постулата, как с высоты ангельских небес, мне, может быть, более, чем кому-либо, понятны и «Руслан и Людмила», и «Девочка на шаре», и «Любовь к трём апельсинам». Конечно, надо самому думать: одно дело — романтизм в литературе и искусстве, и совсем другое — в каком-нибудь вечно живом учении. Это только для Православной Церкви ясно как божий день, что зло побеждается отсутствием зла. А принципиальные атеисты никогда не верили и не поверят, что борьбу за справедливость надо вести не против злого человека, а злого — в человеке. Потому как сам человек как таковой создан Богом по своему подобию.

Три полочки для домашнего пользования — я впервые переворачивал и перебирал на них все свои сбережения и накопления. Я чувствовал, что вступаю в новый период жизни, который не предвещает мне ничего, — что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться...

Приходилось ли вам с высоты акведука наблюдать переполненное русло реки, выходящей из своих берегов, когда течение неба и движение вод смешиваются и кажется, что ты летишь подобно птице? Или... приходилось ли вам стоять у раскрытых настежь дверей и смотреть, смотреть на праздничные первомайские колонны демонстрантов, на разноцветье шаров и лиц, восторженно проплывающих и на всякую здравицу крикливых радиоколоколов отзывающихся победным кликом — ура-а!..

Мне приходилось. Это было в Барнауле. Мама привезла меня в больницу, у меня было учащённое сердцебиение, но нас не приняли. Нам пришлось очень много ходить, я не поспевал, и мама вынуждена была брать меня на руки. Мы поднимались на какую-то гору, шли через сосновый бор, переходили речку. Мост пружинисто покачивался, и я вдруг почувствовал, как сердце мое трепыхнулось и я полетел, полетел в высоту и глубину небесных вод. Конечно, я крепко держался за мамины волосы, но я летел, и мама летела вместе со мной. Это было до того жутко и до того хорошо, что я растворился в глубине вод.

Потом мама говорила тёте в красном платье, что я опять терял сознание и опять из носа у меня текла кровь.

Вооружившись фонендоскопом, тётя прослушала мою грудную клетку, и мне было щекотно от прикосновений металлическим кружочком, и я смеялся. Я смеялся, а они большими глазами смотрели на меня и прислушивались к чему-то такому, что я не мог услышать.

— Это у него возрастные шумы, с возрастом левый желудочек придёт в норму, — успокаивала тётя

маму, а я смотрел на мозаичный пол длинного коридора и впервые чувствовал грусть своей жизни.

На прощание тётя-врач дала мне медовый пирожок, такого у нас с мамой не было, и я решил привезти его домой, чтобы показать дворняжке Джеку и нашей корове Зорьке, чтобы и они знали, что я был в городе.

В тот день мы не смогли уехать, автобусы были переполнены, и мы легли спать на полу железнодорожного вокзала, потому что новый автовокзал ещё только строился. Мама постелила мне под лавкой, чтобы на меня не наступили, и я, словно Джек, лежал в своей халабудке, и мне нравилось, что я защищён со всех сторон и мама хотя и не рядом, но тоже лежит на полу и всегда видит меня своими большими глазами, а я всегда вижу её. И ещё мне нравилось, что близкие-близкие от меня проходили, куда-то торопясь, разные чужие ноги, а некоторые останавливались и рассказывали мне, что и они устали так же, как и мои ноженьки.

Я проснулся в предчувствии большой радости. Через огромные проёмы окон солнце заглядывало в зал и в своих сверкающих лучах прогуливалось под высокими колоннами. Всюду-всюду его было так много, что мне показалось, что мы с мамой находимся в сказочном дворце. Я нисколько не удивился, что мы в нём одни, что солнце наклонилось над мамой и, не касаясь её лица, выпустило ей на ладонь своего солнечного зайчика. Я потянулся к нему, мамина рука ласково отозвалась, и зайчик перескочил ей на локоть. Мне стало весело, я догадался, что мама хотя и спит и глаза у неё закрыты, своей рукой помнит обо мне и даже уговаривает меня ещё немножко поспать. Но я не послушался.

Я вылез из халабудки и побежал по солнечным залам дворца навстречу радостному гулу, с которым проснулся, который, казалось, бурлил во мне. Я уже знал, что настоящие музыка и смех бурлят на улице.

Двустворчатые двери, огромные, как ворота ковownika, были открыты настежь. Я остановился напротив проёма и замер. Я смотрел из глубины зала поверх людей, стоящих внизу на ступеньках крыльца, и видел полноводную реку разноцветных шаров и лиц. Если бы люди стояли не на ступеньках, а на крыльце или даже в проёме настежь раскрытых дверей, они все равно не смогли бы загородить мне полноводья тысячи тысяч лучащихся глаз.

— Миру — мир! — разом выкрикнули радиоколокола.

— Ура-а, ура-а!.. — нестихающе понеслось в голубую высь.

Музыканты разом ударили в литавры, и медь тарелок запела так, словно это пели сами ворота, распахнувшиеся в весну.

Я стоял напротив проёма, позабыв обо всём. Я никогда не видел такого множества зелёных веток и кружев из белых цветов. Я никогда не видел такого множества голубей и воздушных шаров, разом

взмывших в небо. И конечно, я никогда не слышал духового оркестра и подобных, громыхающих вместе с эхом, голосов. Да-да, я ещё никогда не видел такого множества счастливых лиц и глаз, текущих мимо меня единой полноводной рекой.

— Миру — мир! — опять прогремыхали радиоколокола, и опять:

— Ура-а, ура-а!.. — нестихающе понеслось ввысь.

— Миру — мир, мир — миру, — сказал я вслух, потому что уже читал по букварю «ма-ма — ра-ма».

Я сказал вслух знакомые слова, но они показались мне не словами, а как бы створами ворот, распахнутыми в небо.

— Ура-а, ура-а, — робко пропел я, пробуя на язык и это удивительное слово, и вдруг почувствовал, что сердце внезапно трепыхнулось и я полетел, полетел к воздушным шарам, в бездонную высь.

...В родную деревню мы приехали засветло. Автобус остановился возле молочно-товарной фермы, и, пока мы шли домой, маму часто останавливали и расспрашивали о моей болезни. Меня никто ни о чём не спрашивал, я смотрел на вскипающие на солнце лужи и опять чувствовал грусть своей жизни. Я не понимал мамино беспокойство о своих обмороках и крови из носа, ведь я уже заметил, что они всегда случались, когда мне становилось жутко и хорошо. Поэтому мне стало жалко маминых разговоров, и, когда к нам пришли соседи, чтобы посидеть за самоваром в честь праздника, я сказал им всем, что мне нисколько не больно от обмороков и от крови из носа, а, наоборот, я лечу от них высоко-высоко, как жаворонок или кобчик. Все посмотрели на меня очень молчаливо, а горбатая старуха Коржиха, клюки которой я побаивался, скрипуче засмеялась и побешала:

— Вот так, милóк, когда-нибудь и улетишь...

— Ну что вы, Евдокимовна, Господь с вами, — недовольно сказала мама и посмотрела на меня ласково и задумчиво, как она смотрела на фотографии отца и вообще фотографии своей прошлой жизни, когда меня ещё не было или я был совсем-совсем маленьким.

Я взял медовый пирожок, который всё это время лежал в маминой сумке, и вышел во двор. Куры не обратили на меня никакого внимания, зато Джек сразу вылез из своей конуры и стал радостно тереться о мои колени — он даже понарошку кусал меня за ноги, когда я шёл через двор, чтобы посмотреть на нашу Зорьку.

Зорька лежала на свежей соломе, повернувшись к двери. Она жевала жвачку, но, когда я присел на корточки и подал ей кусочек пирожка, перестала жевать и, шумно вздохнув, задумалась. Я упрашивал её, чтобы она съела кусочек, но она продолжала думать о своём, и тогда я стал гладить её. Она повернула голову, и её шейные морщинки потекли под моими пальцами, словно струйки ручейка. Мне почему-то хотелось говорить ей, что я был в городе.



— Ты не думай, Зорька... внутри себя я уже большой и всё-всё понимаю. Этим летом я скажу маме, что буду пасти тебя, пока не пойду в школу.

Я рассказывал Зорьке, что буду пасти её за речкой, где растёт большая трава, а в обед, в самую жару, она будет стоять в воде, на третьей ямке под ивовым кустом, где меньше всего назойливых мух и слепней.

В полумраке Зорькины рога матово лоснились, а белый курчавистый волос на лбу, взблескивая, искрился от моего прикосновения. Зорька потянулась ко мне, прямо к моему лицу, и я увидел, что глаза её блестят, а из глаз текут обильные слезы. Она опять шумно вздохнула, опавнув каким-то домашним — домашним дыханием, после которого я вновь почувствовал себя не то чтобы маленьким, но и не таким уж большим.

Когда вышел из сарая, Джек меня преданно ждал. Он сразу увидел и пирожок в кармане, и кусочек в руке, и что не такой уж я маленький, как показалось Зорьке. Он увидел меня точно таким, каким я хотел, чтобы меня видели все, а в особенности клюкастая старуха Коржиха.

— Какой ты умный, — сказал я Джеку и дал ему кусочек пирожка, и погладил его, и вместе с ним порадовался его сметливости, когда, ласкаясь, он шустро тыкал носом как раз в тот карман, в котором лежал пирожок.

Я сел на ступеньку крыльца, а Джек на деревянный помост. Пёстрый, с чёрно-белыми разводами на ушах, топорщавшихся и на кончиках как будто сломанных, он смотрел на меня с той преданностью и вниманием, словно мы уже условились есть пирожок вместе.

— Нет-нет, у нас не было никаких уговоров, — возмутился я и отвернулся (стал смотреть на заходящее солнце).

Розовые лучи скользили поверх плетня, а стеклянные банки, насаженные на колышки, горели изнутри так ярко, словно они были электрическими лампочками. Пространство улицы за колхозной водоканалкой раздвинулось, и тёмные скирды сена теперь представлялись стадом слонов, спускающихся к водопою. Вокруг было столько простора, уходящего в небо, а в небе — причудливых облаков, как будто касающихся земли, что я невольно вспомнил город с гирляндами разноцветных шаров, красных флагов и белых голубей, так плотно взмывавших ввысь, что иногда казалось, что это взмывает весь праздничный город.

— Миру — мир! — восторженно крикнул я, встав во весь рост.

Сердце трепыхнулось, но прежде, чем почувствовал, что лечу, я увидел Джека, который, жалобно взвизгнув, подпрыгнул, чтобы лететь вместе. И я не полетел, я не мог оставить Джека.

Я спрыгнул со ступеньки и, обхватив его за шею, кружился с ним. Потом опять сидел на ступеньке, и

по кусочку отламывал от пирожка, и давал Джеку, и ел сам, облизывая жёлтое повидло, которое выползло между пальцев.

— Такого вкусного пирожка больше ни у кого нет, — говорил я Джеку. — Тётя-врач дала нам его для нашего праздника.

Сказал о празднике и едва не задохнулся от догадки. И чтобы уже развеять все свои сомнения, забежал по ступенькам на крыльцо, повернулся лицом прямо к солнцу и словно бы вновь очутился на празднике, среди громыхающих радиолоколов, бравурной музыки, смеха и песен.

— Миру — мир, мир — миру, — сказал я громко и отчётливо, как будто прочитал по букварю.

Сердце знакомо трепыхнулось, но я не стал хвататься за Джека, который тёрся о мои колени, я точно знал, что не упаду в обморок: ни сейчас, ни после — никогда. Я был уверен, что подрос и болезнь отстала от меня.

С того дня я действительно больше не падал в обмороки и из носа у меня не текла кровь. Конечно, я мог бы не вспоминать тот праздничный день, но именно тогда в меня вошло убеждение, что силой воображения можно одолеть любую болезнь, и не только болезнь...

## Глава 11

В ночь на субботу впервые приснилось, будто я в отдельном кабинете за белоснежным столиком и официант подносит мне ши, дымящуюся баранину с зелёной петрушкой и кофе со сливками. Плутая слюну, всячески старался показать официанту, что не голоден, просто пришло время отобедать. Уяснив, что обед для меня своеобразный и мало что значащий ритуал, официант испросил разрешения отдать обед какому-то голодающему поэту, который якобы стоит в ожидании за портьерой. Я откуда-то знал, что голодающий поэт — это я, Митя Слёзкин, поэтому преувеличенно небрежно, мановением руки, разрешил унести поднос с обедом. Я предполагал, что раз я — я, то за портьерой никого нет и обед вернется ко мне.

Официант отодвинул портьеру, и, к своему ужасу, я увидел себя в уже известной крылатке из байкового одеяла с тремя поперечными полосами по плечам. Это было до того неожиданно, особенно униженность, с какою Митя Слёзкин протягивал руки к обеду.

Официант испуганно оглянулся, очевидно, узнал меня, и в ту же секунду, в предчувствии грязного скандала из-за тарелки шей, я проснулся.

Проснувшись, некоторое время испытывал чувство стыда, потом сожаления и, наконец, голода. Поощрённое спазмами в животе, воображение до того разыгралось, что в конце концов я уже не мог думать ни о чём. И как был налегке, так налегке и пропустил к продуктовому магазину.

Я бежал в застиранных трусах и майке, с пачкой «рваных» за пазухой. Каждая клеточка во мне вопия-

ще кричала: е-есть, е-есть! Однако всем своим видом я старался убедить встречных прохожих, что этот мой бег — обычный утренний моцион трусцой. Наверное, я бежал слишком резво и чересчур целеустремленно. Вослед мне отпускались шуточки, наподобие: «Эй, комик, штаны забыл — догоняют!..».

Конечно, я не учёл, что для утреннего моциона проснулся слишком поздно. В магазине никто не захотел даже отдаленно признать во мне физкультурника-одиночку. Как-то враз все единодушно решили, что я — бесстыжая морда и нахал. Возмущенные покупатели, пожертвовав очередью, буквально вынесли меня из магазина. Я чуть не заплакал от досады. Слава богу, всегда закрытый ларёк на автобусной остановке торговал, и мне удалось взять две пачки печенья и баночку трески в томатном соусе, которая продавалась в нагрузку к печенью.

Первую пачку печенья съел сразу, у ларька. То есть — когда съел и как? — не заметил. Даже маленько порхался в пакете: неужто всё?! Вторую ел не торопясь, контролировал свои действия. Нарочно подошёл к доске для вывешивания свежих газет и вроде бы, увлекшись чтением, по рассеянности хрумкал. На самом деле я кончиками пальцев на ощупь читал удивительно вкусное слово, придуманное мукомольной промышленностью СССР, — «Привет!». Привет! — мысленно отзывался каждой печеньюшке и, только покончив с ними, удосужился прочесть: «Н... комсомолец», 20 августа...» «Надо позвонить в «Союзпечать», поинтересоваться, почему на нашей автобусной остановке свежие газеты вывешиваются от случая к случаю?» — подумалось как бы между прочим, и в ту же секунду я позабыл и о голоде, и о своём неудачном виде физкультурника, и вообще обо всём.

На первой полосе, чуть ниже заметки о комсомольско-молодёжной бригаде пригородного совхоза «Узбекистан» «Кто заменит тетю Глашу?», смотрела на меня до боли знакомая фотография улыбающейся старшеклассницы, пускающей мыльные пузыри. А рядом — напечатанное лесенкой мое стихотворение «Ангелы любви», которое было переименовано в «У Лебединого озера» и посвящалось Розе Пурпуровой. (Посвящение озадачило, я не знал, радоваться мне или негодовать? Дело в том, что девичья фамилия Розочки — Пурпурик.)

В строке «И — поверил в мечтания, их сокровенность тая...» неожиданно обнаружил лишнее слово, вставленное с неизвестной целью: «И честно — поверил в мечтания...» Господи, какое убожество: если можно «честно» поверить в мечтания, то не возвращается и «нечестно». Интересно, каким образом, пусть объяснят, мысленно возмущался я, подразумевая под «они» не столько Васю Кружкина, сколько корреспондентов отдела комсомольской жизни. Безусловно, и по посвящению прошла их рука (Розочка иногда звонила в бухгалтерию редакции и представлялась под девичьей фамилией). Воровски сняв газету, я действительно трусцой вернулся в об-

щежитие. (Кстати, на этот раз встречные прохожие не обращали на меня никакого внимания.) Тщательно изучив публикацию и вообще всю первую полосу (фотоэтиюд и стихотворение, очерченные одной линией, визуально воспринимались как единый материал), пришёл к выводу, что стихотворение подано со вкусом, а вместе со старшеклассницей и достаточно броско — не затерялось среди газетных информашек. К новому названию постепенно привык — Васина работа. Судя по заголовку «Кто заменит тетю Глашу?», он не поскупился, достал самые сокровенные сбережения, можно сказать, пустил в ход весь свой золотой запас. Наверняка в расчёте, что, как некогда «в верхах» заметили его «дядю Гришу», теперь, с «тётей Глашей», заметят и его новаторскую полосу... «Да, Еврейчик — Вася кому хошь даст сто очков вперёд», — радовался я за него, надеясь, что и моё стихотворение не будет обойдено... и, если газета попадётся Розочке, она непременно прочтёт его. А прочитав, простит меня, вернётся домой, в общежитие. Словом, «честно поверил в мечтания, их сокровенность тая...», что произойдёт именно то, чего я и хотел добиться публикацией.

Разумеется, я сожалел, что раньше не натолкнулся на газету, давно бы съездил в редакцию, взял авторские экземпляры. Теперь придётся ждать до понедельника — ничего, подождём. Воображение услужливо подсовывало картины радостного возвращения Розочки. О том, что «Союзпечать» почему-то со вторника не вывешивала свежие газеты, и думать не думалось.

С утра, оставив две записки для Розочки (одну в двери комнаты, а другую на вахте), отправился в редакцию. Настроение было превосходным: солнце, теплынь — после ночного дождя городок благоухал. Я нарочно пошёл через кремлёвский парк и даже немощно посел на лавочке у фонтана. Мириады солнечных искр, сливающихся в устойчивую радугу, свежий запах зелени и нежный аромат цветов — во всём присутствовало вдохновение... Я внезапно почувствовал стихи, меня опажнуло их дуновением.

Тысячелетие и миг.

Песчинка и планета.

Во всём проявлен Божий лик.

Во всём дыханье света.

Мне стало до того хорошо от понимания, что и я, какой ни есть, храню в себе Божий лик, что невольно вслух засмеялся и вынужден был покинуть лавочку. Две старухи, мирно разговаривавшие, вдруг умолкли и стали опасливо оглядываться на меня. Чувствуя спиной их подозрительные взгляды, шагнул в радугу, а вышел — как из-под душа. Ни о каких стихах не могло быть и речи. Чтобы подсохнуть, решил сразу не заходить в редакцию, а немного погулять возле ДВГ и по чистой случайности выбрал от-

мостку под окнами библиотеки. Выбор оказался неудачным. Из окна второго этажа высунулись два коротко стриженных атлета и приказали, чтобы не маячил под окнами. Безапелляционность озадачила.

— А вы, собственно, кто такие, представьтесь, — как можно учтивее сказал я.

— Если мы представимся, — ответил черноголовый, — то ты уж точно костей не соберешь. Ты понял, ханурик?

Не дожидаясь моего ответа, приказал белобрысому, чтобы тот спустился и навшивал «мокрой курице». Белобрысый довольно-таки умело цыркнул слюной сквозь зубы, с расчетом попасть в меня, и лениво, будто мы уже полдня разговаривали, сказал:

— Ханурик, ты слышал? Отвали, а то по стене размажу.

Боже, у меня не укладывалось в голове, чтобы так вызывающе грубо разговаривали со мной не где-нибудь, а в ДВГ, в его интеллектуальном центре, лучшей библиотеке города. Мелькнуло: может, сантехники из уголовников?! Вполне, книги очень даже дефицитный товар...

Решение созрело молниеносно — дойти до ближайшей телефонной будки и позвонить куда следует.

Между тем белобрысый продолжал:

— Ханурик, даю десять секунд на размышление.

Он исчез, и тут же из соседнего окна, стуча размазывающимися ступеньками, вывалился штормтрап. Самый настоящий, корабельный — линии из промасленной пеньки.

Выглянул черноголовый. Не отрывая взгляда от часов, напомнил:

— Ханурик, осталось три секунды!

Никогда в жизни, ни до, ни после, я не испытывал столь сильного раздражения на прозвище. Взяв первый попавшийся под руку обломок кирпича, сказал, что всякому, кто попытается слезть, ещё на трапе расшибу голову.

Я отбежал от отмокши и на всякий случай стал под деревом.

На этот раз из соседнего окна высунулись сразу четыре головы. Я был удивлён до крайности, потому что в одной из них узнал нашего редактора. Он тоже узнал меня.

— Митя, это ты, что ли?!

Я вышел из-под дерева и бросил обломок кирпича под ноги. Я не знал, что и подумать.

Редактор подошёл к окну, у которого стоял черноголовый, и они вполголоса стали горячо что-то обсуждать. Потом редактор выглянул и сказал, чтобы я залезал. Я засомневался: уж не заодно ли он с «сантехниками»? Но редактор, уловив сомнения, успокоил:

— Залазь, никто тебя не тронет.

— Зачем же по трапу, если гораздо проще зайти через двери? — спросил я.

Он почему-то сразу разозлился и даже прикрикнул, чтобы не разглаговльствовал, не собирал вокруг

себя ротозеев. Его поведение выглядело более чем подозрительным. Теряясь в догадках, я умышленно затягивал время.

Белобрысый, равнодушно нависавший над трапом, вдруг спросил:

— Слушай, откуда ты взялся?

Он повернул голову в сторону окна, из которого выглядывал редактор:

— А что... может, эта мокрая курица в самом деле лазутчик от гэкачепистов?

Редактор, скрывшись, что-то ответил, я не слышал — в библиотеке дружно засмеялись.

— Эй ты, поэт... летописец... поэт-летописец, давай залазь, а то выберем трап!

Сверху посыпались не то весёлые угрозы, не то приглашения, но трап рывками действительно стал подниматься.

— Пойдите! А-а, была не была, — сказал я и ухватился за трап.

Моя внезапная решительность вызвала веселое одобрение. Я не столько поднимался по трапу, сколько меня втягивали вместе с ним.

У окна, когда влезал на подоконник, меня подерживали с десятков дружеских рук и чуть было не уронили на отмостку.

— Если хотите что-нибудь провалить, поручите комсомолу, — резюмировал я, чем вызвал какой-то чересчур радостный смех.

И неудивительно, большинство молодых людей (я насчитал их с дюжину) представляло собою цвет Н-ского комсомола. Во всяком случае, в черноголовом и белобрысом (в обычном ракурсе) сразу узнал заведующего отделом рабочей и сельской молодежи и его зама. Они, конечно, меня не узнали (да и кто я для них?!), зато обратили внимание, что я в ботинках без носков. Черноголовый задрал мне штаны и попросил, чтобы я постоял в таком положении на подоконнике. Он юркнул за стеллаж и через секунду вынырнул с телекамерой. Снимая мои ноги, комментировал:

— Нельзя делать революцию в белых перчатках (оных может не оказаться). Демократическую революцию должно делать в белых носках, ибо чуть-чуть воображения, и всякий босяк — архиреволюционер! Однако перед нами не всякий, нет. Поступило срочное распоряжение из-под стола: за выдающиеся заслуги в области культпросвета премировать будущего буржуина двумя парами белых носков.

Мне действительно всучили две пары белых носков, после чего под жидкие аплодисменты пригласили пройти в вестибюль, подкрепиться.

— Пришло время ланча, а для кого-то линча, — шутили за моей спиной.

Кстати, я обратил внимание, что все поголовно были в белых носках. Вообще все происходило как во сне — ярко и неправдоподобно. Четыре состыкованных письменных стола со всякой снедью, густо уставленных бутылками с водкой. На диванах при-

корнувшие молодцы. Какие-то шаркающие шаги внизу, на первом этаже, и наверху, на третьем. Беспеременно звонящие телефоны и сама атмосфера какого-то показного, ненастоящего веселья вызывали во мне невольное напряжение. Если бы не редактор, взявший надо мной опеку, не знаю, чем бы для меня закончилось посещение ДВГ! Вполне допускаю, что «белые носки», как мысленно я окрестил их, могли меня довольно запросто поколотить. Слава богу, усаживаясь рядом, редактор шепнул, чтобы на все вопросы отвечал: не знаю, впервые вижу.

Белобрысый лихо сорвал пробку, налил мне полный стакан «Посольской».

— Штрафную — к линчу! — изрёк он.

— Никаких штрафных, — не повышая голоса, сказал редактор и, переглянувшись с черноголовым, многозначительно пояснил: — У него другое задание.

Черноголовый согласно кивнул, и кто-то, из припоздавших, сказал, чтобы с нормой каждый определялся сам. И действительно, каждый наливал себе сам. Я плеснул чуть-чуть на доньшко и почувствовал, что моё равнодушие к водке вызвало подозрение. Меня наперебой стали спрашивать: кто я, откуда, зачем появился здесь, знаю ли редактора или кого-нибудь из присутствующих?..

На все вопросы отвечал односложно: не знаю, впервые вижу.

— Ты что же, и своего имени не знаешь? — вкрадчиво спросил усатый молодой человек в тёмно-синем костюме и галстук, поднявшийся с первого этажа и, в отличие ото всех, пивший из стакана не водку, а кефир.

Все за столом притихли, даже редактор перестал есть, только спросивший как ни в чём не бывало продолжал жевать бутерброд.

— Не знаю, — ответил я. — Но имею предположение.

Я отодвинул стул и, сняв ботинки, демонстративно стал надевать белые носки. Надевал в полном молчании, чувствуя на себе тяжёлые придавливающие взгляды. Когда закончил, через стол подали белое вафельное полотенце. Не знаю, но мне почему-то стало страшно. «Смотри-ка, белое полотенце!» — в смятении подумал я.

А между тем усатый пригласил меня сесть и, вскинув и без того высокие брови, поинтересовался, что же это за предположение, если не секрет, конечно.

И опять гробовое молчание. Редактор довольно чувствительно наступил мне на ногу, но даже и мельком не посмотрел в мою сторону. Как чистил варёное яичко, так и продолжал чистить, полностью поглощённый своим занятием. Он таким способом предупреждал — ничего лишнего.

— Предполагаю, что некоего босяка называли Буржуином, — сказал я преувеличенно громко, чтобы скрыть охватившее меня волнение.

— Ничего подобного, юродствует, — бесстрастно заметил редактор и тут же пояснил: — Поэт-Лето-

писец, через дефис, но Летописец тоже надо писать с прописной.

Он как-то залпом проглотил яичко и замер, как бы прислушиваясь к его продвижению по пищеводу. Усатый улыбнулся, а многие за столом засмеялись. Правда, я так и не понял, к чему относился смех: то ли к Буржуину, то ли к Поэту-Летописцу, то ли к залповому проглатыванию яйца. Как бы там ни было, от меня отстали. И хотя съел я немного, а ещё меньше выпил, ланч до того разморил, что на рядовой вопрос белобрысого (сидел напротив и на правах хозяина делился со мной закуской), что подать, ответил, что, пожалуй, ничего, потому что очень сильно хочу спать.

Усатый, вставая из-за стола, хохотнул:

— Отличная нервная система, будем завидовать!

За столом заулыбались, я почувствовал к себе такое искренне дружеское расположение, словно вдруг, неожиданно-негаданно, совершил безумно смелый поступок и спас всех присутствующих от неминуемой гибели.

Усатый попросил редактора и черноголового после обеда спуститься к нему, а всех остальных — действовать по расписанию и не пренебрегать своими прямыми обязанностями. Не знаю, что меня пленило в усатом: интеллигентные манеры, внутренняя собранность или олимпийское спокойствие, — но я почувствовал, что глава здесь — он. И он не выскочка, не самозванец, а, по всей вероятности, сугубо военный человек. Может быть, морской офицер, специально приглашенный для руководства данным предприятием. Что за предприятие, кем приглашен? Оставалось тайной, которую, как это ни странно, мне не хотелось разгадывать.

## Глава 12

Я подвинул стул к стене и, скрестив руки на груди, решил прикорнуть. Сквозь дрему слышал странные разговоры о том, что Дом всех газет, очевидно, будет под арестом до суда. Что с обеих сторон (разумеется, я не понимал, какие стороны или чьи) поступило огромное количество жалоб на какого-то литературного работника, который заделался не то Поэтом-Летописцем, не то Буржуином, но которому всё равно кранты. Мне привиделось, что я — Самовар-Буржуин. Толстый, пузатый, а на месте пупка у меня — кран. Я стою фертом, подбоченившись, посреди какого-то громадного стола, и у меня одна задача: никаким образом не давать чаю тянущимся со всех сторон стаканам, облачённым в какие-то живые подстаканники. Никто лучше меня не знает, что, как только кран будет открыт, я, как Самовар-Буржуин, немедленно исчезну, потому что вся моя пузатость в «нечаянной чайности...». Меня дёргают, толкают, трясут, наконец, так бесцеремонно, что я просыпаюсь.

— Вот уж действительно отличная нервная система! Как сурок спать! — весело заметил редактор и

сказал, чтобы я шёл за ним. Мы прошли через библиотеку, мимо стеллажей книг, через какие-то выгородки и оказались в небольшой глухой комнатке с одним окном, стулом и столом, на котором стоял телефон со снятой трубкой — слышались короткие гудки.

Редактор сел на стол и, не глядя, положил трубку на аппарат.

— Располагайся, — он указал на стул, — и рассказывай всё-всё подчистую: почему пришёл сюда, что тебе нужно, кто послал? В общем, всё — и начистоту, тебе же лучше будет, — предупредил редактор с такой строгостью, словно у него уже имелись неоспоримые доказательства, компрометирующие меня.

— Никто не посылал. Сам пришел, захотелось взять авторские экземпляры со своей публикацией...

Внезапно зазвонил телефон. Редактор остановил меня и так же, не глядя, как положил, снял трубку.

— Внимательно слушаю, редактор «Н... комсомольца». Да-да, это «горячий» телефон.

Ладонью прикрыл трубку, подал мне:

— Послушай, только ничего не отвечай, я сам поговорю с ним.

— Докладываю со всей строгостью и ответственностью, — услышал я отчетливо присевший от волнения, хрипловатый баритон. — В пятницу, четырнадцатого августа сего года руководитель литературного объединения вашей газеты Дмитрий Слёзкин под личиной литературного работника собрал с каждого вновь прибывшего на заседание вольнослушателя по семь целковых. С целью напечатать своим способом «Книгу книг» для восхваления советского тотализма, чтобы поддержать как-то: Янаева, Крючкова, Язова, Павлова, Пуго и других закоренелых гэкачепистов. Слёзкин планирует прибыть в редакцию на Успение Пресвятой Богородицы, двадцать восьмого августа. Предлагаю тут-то его и взять. (Продолжительная пауза, потом вопрос — записал ли?)

Я вернул трубку, не зная, что и подумать.

— Нет-нет, повторите последнее предложение, — попросил редактор и шепнул, чтобы я приблизился и слушал вместе с ним: сейчас будет самое интересное.

После некоторой паузы он спросил звонившего:

— Ваша фамилия, имя и отчество?

В трубке неуверенно кашлянули.

— Так тожеть нельзя. По радио объявили, что можно свидетельствовать без своей фамилии, конфиденциально.

«Господи, это же староста литобъединения, мой Лев Николаевич!»

Редактор согласился, что можно без фамилии, но в деле со Слёзкиным особый случай.

— Он пойман и взят под стражу, а на допросах свою вину отрицает, говорит, что деньги на «Книгу книг» сдавались добровольно, требуется очная ставка.

В трубке опять кашлянули.

— Лично я деньги не сдавал.

— Вот и хорошо, — одобрил редактор. — Будете вне всяких подозрений и тем ещё лучше можете следствию по делу гэкачепистов на местах, — последние слова произнёс так, словно прочитал полное название дела с лежащей перед ним папки.

В ответ на другом конце провода положили трубку. Редактор тоже положил, но не на аппарат, а на стол. Видя мою растерянность, даже притюкнутость (я был в таком смятении, словно мне опять подали полотенце), он сказал:

— Чувствуешь, Митя, тебя обложили со всех сторон, запирается бесполезно — выкладывай.

Я не понимал, что происходит. Голова лопалась от вопросов, которые, словно радиоактивная соль, выпадали в осадок, разрушали ум. Мгновениями казалось, что я рехнулся, мой мозг отказывался мне служить. «Староста чем-то напуган — чем? Кто такие закоренелые гэкачеписты и почему на меня пало подозрение, что я их лазутчик?» Вопросы, вопросы и ни одного вразумительного ответа, какой-то сплошной «тотализм»! Нервно засмеявшись, вытащил из внутренних карманов пиджака три пачки денег, перетянутые белыми нитками, и положил их на стол.

Редактор молча встал, неторопливо выдвинул верхний ящик стола. Я увидел плотные пачки двадцатипятирублевых, лежащие трехслойными рядами и стянутые банковскими бумажными полосами. «Откуда здесь так много денег и почему он показывает мне?! Неужто банк... а меня подставили?! Почему меня?! «Тотализм»!..»

Я откинулся на спинку стула, чувствуя, что ворох новых вопросов только усиливает ощущение, что я поглупел окончательно. Уловив, что я потрясён увиденным, редактор так же неторопливо, как выдвинул, задвинул ящик.

— Итак, Митя, — он засмеялся, — взятки не беру.

Редактор протянул мне подкожные деньги, которые в сравнении с теми, что лежали в ящике стола, показались хотя и жалкими и замызганными, но такими домашними и родными, словно газетные вырезки моих опубликованных стихотворений. От тех же, лощёно-тугих, пахло холодной отчужденностью, я почти физически ощутил изморозь какого-то потустороннего ветерка.

— И что же, по-вашему, меня ждет? — равнодушно спросил я и, внезапно даже для себя, идиотски хихикнул. (Ужасно некстати вспомнилось письмо Незримого Инкогнито, в котором он пророчествовал Дивному Гению шествие в Светлое Будущее непременно в кандалах.) Я хихикнул оттого, что легко представил себя Дивным Гением.

На подоконнике стоял графин с водой, редактор подал стакан. Он почувствовал, что я не в себе.

— Митя, успокойся! Даю слово, что здесь (он постучал по верхнему ящику стола) нет никакого криминала. Ответь: почему ты пришел сюда, с какой целью? И вот увидишь, я тоже отвечу на все твои вопросы.

Выпив воды, я повторил, что никто меня никуда не посылал. Я сам пришел в ДВГ. В конце концов, имею право прийти на работу, имею право взять авторские экземпляры газеты, в которой опубликовано моё стихотворение? А потом, кто такие гэкачеписты и почему именно я должен быть их лазутчиком?

— Гэкачеписты — враги демократии. И ты это знаешь не хуже меня, — сказал редактор. — Иначе зачем бы они держали Горбачёва в Форосе?!

Мои расширенные глаза, удивление, наконец, глупейшие вопросы, на которые мог бы ответить любой школьник, привели редактора в замешательство.

— Митя, ты либо притворяешься, либо только что вышел из лесу! Неужели ты газет не читаешь, телевизор не смотришь, радио не слушаешь?! С людьми-то в общепитии встречаешься или ты живёшь в мусорном ящике?!

Конечно, он не хотел меня оскорблять, но оскорбил. Я разозлился, сказал ему, что он очень прозорливый: да, не читаю, не смотрю и не слушаю! Мне до того обидно стало, что сижу перед ним действительно дурак дураком, — у меня даже комок подкатил к горлу. Чтобы не выдать себя, высморкался и, украдкой вытирая глаза, увидел, что высморкался не в носовой платок, а в премию, то есть в демократическую пару белых носков, вот только что мне всученных. Он тоже увидел — мы переглянулись. Понимая, что он уже ничего не поймёт, сказал ему, чтобы он ничего не думал: от меня жена ушла. И совершенно произвольно высморкался ещё раз.

Редактор поверил мне. От него я узнал странные вещи: о путче гэкачепистов, о демократической революции и, самое удивительное, о своём прямом участии (в масштабах области) в этих судьбоносных исторических событиях.

Оказывается, сразу после выхода в свет газеты с моим стихотворением «У Лебединого озера», посвященным Розе Пурпуровой, редактору позвонил Сам первый секретарь обкома партии и, не скрывая угроз, сказал, что за публикацию антипартийного стихотворения с мыльными пузырями он, редактор, и я, автор, получим по всей строгости чрезвычайного положения.

— Это же форменное безобразие — издевательство и прямой призыв к бунту, — сказал Сам и пообещал в ближайшее время разобраться с нами.

Слава богу, в ближайшее время случилась демократическая революция! Но и тут для нас с редактором вышло не всё ладно. ТАСС сообщил, что некоторые области поддержали гэкачепистов, а особенно рьяные... поместили на первых полосах газет «оды», восхваляющие путчистов, и в качестве примера сослались на моё стихотворение, опубликованное в «Н... комсомольце». Откуда я мог знать, что балет «Лебединое озеро», транслируемый в течение трёх дней по всем каналам телевидения, станет визитной карточкой путчистов?! Сели мы с редактором между двух стульев.

— А что же Вася Кружкин? — спросил я редактора.

Как ни крути, а заголовок моему стихотворению и вообще всю новаторскую полосу придумал он. Разумеется, я ничего не объяснял редактору, просто поинтересовался, любопытно стало — как Вася выпутался из переделки, которую самолично сотворил и в которую вовлек нас, не по злему умыслу, конечно, стихийно?

Редактор безнадёжно махнул рукой: мол, что с Еврейчика возьмёшь?!

— Удрал в командировку, успел. Уехал на историческую родину... Будет там лес валить — заменит и тетю Глашу, и дядю Гришу.

Редактор как-то невесело засмеялся своей шутке и посоветовал и мне срочно уехать куда-нибудь подальше.

Я сказал, что мне пока нельзя уезжать — вдруг жена вернется!

Редактор, разведя руками, вскинулся:

— Ну, Митя, ты даёшь! В стране революция, всё общество трещит по швам, ломаются государственные устои, неровён час, новый отец народов объявится, а он — вдруг жена вернется!

И стал стыдить меня, что я хуже последнего обывателя. На одной чаше весов — судьба мира, а на другой — мельчайшей молекулы, невидимой невооружённым глазом, и что же?! Для человека, называющего себя Поэтом, судьба молекулы перевешивает все судьбы мира!

— Анекдот, да и только! — в сердцах подытожил редактор и, не скрывая сарказма (старался уколоть побольнее), повторил меня как бы с ужасом: — Нельзя уезжать, никак нельзя — вдруг жена вернется!

У него довольно-таки смешно вышло, по-театральному убедительно, но я не засмеялся. Мне стало грустно, хотя я понимал, что, по большому счёту, он прав и если я чего-то достоин, так это прежде всего высмеивания.

— Понимаешь, — сказал я, — тут дело не в том, что она вдруг вернется. Тут всё дело в том, что она вдруг вернётся, а меня нет, понимаешь?!

— Не понимаю и не хочу понимать, — возмущенно ответил редактор.

Я полез в карман за носовым платком (у меня внезапно объявился насморк — неудачно шагнул в раду-гу или ещё почему-то?) и, вспомнив о своем злополучном приключении с носками, задержал руку, не стал его вытаскивать, побоялся ошибиться вторично.

Редактор, перехватив мой взгляд, ухмыльнулся (здесь он всё понял, раскусил). Как бы думая о чём-то своём, меня не касающемся, положил трубку на телефон, стал смотреть в окно.

В данной ситуации было бы глупо что-то доказывать. Это отвратительно — бояться выглядеть смешным, когда понимаешь, что и так смешон.

Пересилив себя, вытащил платок (мне повезло, я иногда бываю неправдоподобно везучим) и, торжествуя, громко высморкался.

Редактор изумленно возрился на меня — оказывается, у человека, ни во что не ставящего судьбы мира, вполне может быть настоящий носовой платок?! Он был посрамлён. Я, как ни в чём не бывало, спросил: а что же он сам никуда не уезжает, тучи сгустились над нами обоими?

Не буду злоупотреблять подробностями. Тогда мне удалось узнать такие вещи, о которых все это время предпочитал помалкивать. Судите сами: тугие пачки двадцатипятирублевки, оказывается, были всего лишь малыми добровольными пожертвованиями наипервейших «новых русских». Да-да, в пользу зарождающейся демократии и реформ. Кто они, наипервейшие? Тогда их называли спекулянтами, кровососами, в общем, криминальными элементами.

Что же произошло? Произошла своеобразная рокировка — элита партии добровольно залезла под стол, а комсомольская элита, ею взращенная, усеялась за столом. Поначалу приказы из-под стола исполнялись неукоснительно. Это потом уже понятливые ученики затоптали своих учителей. Благо, что те сами легли под ноги.

Неправдоподобно? Мне самому не верилось.

— Наивный ты, Митя, — сказал мне тогда редактор. — Мы все, вся страна, за демократию, но где взять демократов?! В том-то и парадокс, что у нас нету ни демократов, ни путчистов. Иначе нам самим не пришлось бы надевать белые носки и закрывать свои же газеты как гёкачепистские. Все — как в военно-патриотической «Зарнице» — сами разделились на приятелей и неприятелей и понарошку воюем. Но жертвы будут всамделишные, потому что ни в одной игре не обходится, чтобы не нашлись такие, кто обязательно воспользуется игрой для сведения давнишних счетов по-настоящему, с мордобоем. Вспомни «Зарницу», а тут игра в революцию в масштабе державы, да что там — в мировом масштабе! Так что жертвы будут, и нешуточные. И первыми падут такие, как ты, Митя: близорукие, не от мира сего, чересчур доверчивые, чересчур прямолинейные.

Помнится, меня обидела роль жертвы, но он сказал, что, не будь его, меня бы линчевали уже во время ланча. Потому что они, «белые носки», истосковались по правдашним путчистам, а тут, по свидетельству народных мстителей (имелись в виду доносчики), объявился самый настоящий путчист — лазутчик Митя Слёзкин.

За время нашей беседы несколько раз звонил телефон, но в трубке загадочно молчали. Через каждые полчаса редактор отлучался, очевидно к усатому. А где-то пополудни меня выпроводили. С часу на час ждали каких-то гостей с ЖБИ, которые в поддержку гёкачепистов должны были расколошматить все окна в ДВГ, а потом в бывшем здании горкома КПСС.

На прощание редактор дал мне пачку газет с моим стихотворением и общую тетрадь (от корки до корки заполненную доносками).

— Почитай, Митя, — напутствовал он, когда я уже спускался по трапу. — Любопытное чтение, может, Вася Кружкин не так уж и не прав, что укатил?..

### Глава 13

В день Успения Пресвятой Богородицы, как и планировал, пошёл на очередное заседание литобъединения. Настроен был архивоинстинктивно. Не терпелось не просто отдать деньги, а побыстрее освободиться от них. Но более всего жаждал освободиться от литобъединенцев, хотелось гнать их поганой метлой. Да-да, именно так! Не раз и не два мысленно прокручивал свою тронную речь, в которой, после того как отдам деньги, намеревался сказать: «А теперь, мнимые классики, как то: Пушкины, Гоголи, Толстые, Некрасовы и прочая, прочая... отпускаю вас на все четыре стороны. Идите с миром к своим детям и внукам, но упаси вас боже когда-либо писать — руки поотрываю!»

Конечно, я понимал, что отрывать руки — это уж чересчур... Но давать сто розог за каждое неправильно употребленное слово, как хотел Лев Николаевич Толстой, мне представлялось незаслуженной милостью и даже потачкой всякого рода графomanам. Выжигать их каленым железом — вот что надобно для русской литературы, думал я, подготавливаясь к заседанию литобъединения как к акту кровавого, но справедливого возмездия. Всё, что прежде мне нравилось в литобъединенцах, теперь вызывало отвращение. Мой разворот на сто восемьдесят градусов объяснялся не столько их лжедоносками на меня (было и это), сколько их непролазно дремучим косноязычием. «Избранное сочинений» в общей тетради при одной только мысли, что это изыски не рядовых негодяев, а якобы ещё и литературно одарённых, приводило меня в состояние зубовного скрежета.

Большинство кляуз начиналось со слов: «Пишет вам ветеран труда, пенсионер, один из Лермонтовых от имени всех Лермонтовых областного молодежного литобъединения (на двадцать второе августа нас насчитывалось пять голов)...» Или: «...один из Тургеневых от имени всех Тургеневых...» Или: «...Шекспир от имени всех Шекспиров» и так далее... менялись только фамилии классиков и количество голов. Все двадцать шесть кляуз были датированы двадцать вторым и двадцать третьим августа (потом «горячий» телефон, введенный новой властью для доносительства, был отменен). Путём простых арифметических подсчетов я установил, что каждая группа мнимых классиков насчитывала в среднем от трёх до четырёх человек. Но лучше бы не устанавливал. Примелькавшаяся репродукция перовских охотников, висящая над головой дежурного вахтёра, загородку которого не минешь в общежитии, стала преследовать меня своими внезапными метаморфозами. Как раз в день литературного заседания проходил мимо и обмер: вместо охотников — длинноволосые Шекспиры!

И не байки друг другу рассказывают, а сочиняют коллективную анонимку. Если бы я не знал на кого!

Впрочем, не это расстроило, а шаблонность фантазии, эпигонство. Конечно, я не упоминал бы об этом, но именно кляуза «Шекспира от имени всех Шекспиров...» окончательно раскрыла глаза на происходящее. Дело в том, что ни в первом призыве (скажем так), ни во втором, когда я распоясался, у меня Шекспиров не было среди литобъединенцев. А в третьем я вообще не давал никому никаких имён. Предположил, что, может быть, сами того не зная, сидят в актовом зале будущие классики мировой литературы, но конкретно, кто из них кто, не уточнял. Выходило, что они сами, без моего ведома, завладели выдающимися литературными именами.

Самозванцы, Гришки Отрепьевы, — они ещё смеют называть себя Шекспирами?! Чуть-чуть страна оступилась, ещё не сбилась с пути даже, а они уже занесли свои кривые сабли над Иваном Сусаниным. Шляхтичи проклятые — сброд!

Я был полон гнева потому, что в ту минуту всем сердцем ощутил корыстную низость смутного времени, точнее, всех смутных времён.

Потом пришла мысль, что раз литобъединенцы присвоили себе имена, то по моей тарифной сетке с них причитается — они автоматически лишились своих подкожных денег в мою пользу: истратили, так сказать, на покупку литературных имен.

От удовольствия я даже приостановился — я пришел к выводу, что имею моральное право не только не издавать коллективный сборник, но и не отдавать никаких денег. Разумеется, я и думать не думал не отдавать. Я только подумал, что имею моральное право... Но я знал, что отдам, чтобы они совсем уж пали в своём корыстолюбии.

Я зашагал дальше и даже ускорился — никто из нового призыва литобъединенцев не знал о моей сетке. И, стало быть, не мог ею воспользоваться. Тут чувствовалась чья-то волосатая информированная рука.

Маяковского и двух Горьких я сразу отмел, они никогда не ходили в моих приближённых, и в актовом зале я их приблизил по чистой случайности. Другое дело, староста литкружка и его помощник, в прошлом ветфельдшер. Я вспомнил, с каким изяществом он наложил мне на манжеты свои шёлковые лигатуры, и чуть не вскрикнул от точности попадания — он! Только он, ветеринар, мог считать новоявленных Лермонтовых и Шекспиров в головах — профессиональная привычка. Но без старосты он бы не осмелился, исключено. Тем не менее участие старосты оставалось под вопросом.

...В понедельник позвонил в редакцию — донёс со знанием дела, указал, где и когда брать... Не сказал, что он староста литобъединения, утаил, но и Львом Николаевичем не назвался. Потому и не назвался, что, в отличие от новоявленных классиков, они с ветфельдшером получили свои литературные имена лично от меня. Доведись следствию заняться

мною как гзэкачепистским сторонником, старосту бы неминуемо вычислили по литературному имени. В общем, ему не хотелось выглядеть в моих глазах доносчиком, и в то же время, чтобы обезопасить себя, он организовал (не без помощи ветфельдшера, конечно) массовые доносы литобъединенцев, которым (может быть, в шуточной форме) присвоил выдающиеся имена по моей схеме.

Никогда не думал, что мне придётся самого Льва Николаевича уличать в плагиате!

Я стал вспоминать кляузы, то есть от имени кого они писаны, и обнаружил странную особенность: кроме общепризнанных и давно почивших классиков среди литобъединенцев довольно-таки часто встречались не только зарубежные (коих по патристическому чувству избегал — наши не хуже), но и ныне здравствующие классики, которые шли у меня, как дефицитные, по чрезвычайно высокому тарифу. Признаться, что руководствовался не какими-то там высшими соображениями, а инстинктом самосохранения.

Был случай, когда один совершенно уж никчёмный человек вдруг возжелал быть мной, да-да, Митей Слёзкиным! Тогда-то я и вздул тариф, а иначе бы не отбил. А потом, одно дело — видеть в литобъединенце давно почившего классика (ностальгия по ушедшей духовности), и совсем другое — плодить двойников здравствующего писателя. Есть в этом что-то противоестественное, патологическое. Исключения, конечно, были, но только для нобелевских лауреатов. А тут из двадцати шести анонимщиков треть — писатели-иностранцы или наши, выехавшие за рубеж. И ни одного Толстого, и ни одного Некрасова! Странно, очень странно, чтобы в отсутствие строго регламентированных тарифов не нашлось никого, кто бы возжелал покуситься на хрестоматийно известные фамилии! Стало быть, при всей свободе выбора на звания Толстого и Некрасова было наложено табу. Кем? Наверное, теми, кто оставил их для себя. Феноменально! Это не только выдает старосту и его помощника — своеобразное использование служебного положения в личных целях, — но и подтверждает, что они принимали активное участие в организации массовых доносов.

Негодяи! Я их возвысил, а они... Что ж, тем горше будет расплата!..

Кипя негодованием, я то и дело возвращался к тронной речи. Угроза поотрывать руки казалась мне безвинным детским лепетом, и я заменил её. В последнем варианте заключительная фраза должна была прозвучать так: «...но упаси вас боже когда-либо впредь писать — головы поотрываю!»

Вначале я удивился, что расстояние от конечной остановки до ДВГ одолел пешком, ни разу не воспользовался услугами городского транспорта. Затем — удивился времени: до начала заседания оставалось почти пятнадцать минут. И только потом — зловещей отчужденности здания.



Все двери в ДВГ оказались опечатанными, а от-мостка была обильно усыпана стеклами и вырван-ными с мясом оконными рамами, кое-где валялись разбитые вдрызг телефонные аппараты. Если бы я не знал о гостях с ЖБИ, то, наверное, плановые меро-приятия революции привели бы в ужас своей бес-смысленной жестокостью. Но я знал, а потому обра-тил внимание, что следы погрома почти не косну-лись первого этажа, зато гости с ЖБИ разгулялись на втором — ни одного живого окна, зияющие пустоты. Именно на втором, как на витрине, был выставлен на всеобщее обозрение вопиющий антагонизм путчистов-гэкачепистов и демократов — «белых носков». Первые крушили окна ДВГ массовым ору-жием пролетариата с улицы, вторые безо всякого оружия, — изнутри. Общий результат (выбитые окна) списали друг на друга — и те и другие имели свой особый взгляд на происходящее.

Подстелив газету, сел на ступеньку крыльца так, чтобы не видеть революционного плюрализма мнений.

Потрясающее изобретение — революция. Потря-сающее до основ... А с криминальной точки зре-ния — гениальнейшее. Все виноваты, а потому ни-кто не виноват. Всякий, коснувшийся революции, греховен, а не коснуться её нельзя, потому что она сама касается всех. Это очень справедливо, что в конце концов революция пожирает своих детей. По-тому что люди, вызывающие революционную ситуа-цию, — преступники. Я не хочу быть ни революцио-нером, ни контрреволюционером. Я даже граждан-ном не хочу быть. Я хочу быть обывателем. Да-да, обывателем, у которого есть прямые обязанности перед своей семьей, перед государством, если оно чтит обывателя, а всё остальное — его священные права. Я не хочу быть ни на чьей стороне, а только — на солнечной. Сколько замечательного вокруг: леса, реки, моря, океаны. А ещё космос: звёзды, планеты, всякие там астероиды!.. Если всё это для любимого человека — понимаю. Если для революции, для её героев — не понимаю. Почти семьдесят пять лет вос-хищались революционерами, революционными де-мократами, растили сообща какого-то нового чело-века, а на поверку — «горячий» телефон, разбитые окна и опечатанные двери. Может, мои литобъеди-ненцы не так уж и не правы, что старыми, в сущно-сти гэкачепистскими, методами решили разделаться со мной? Для них я (не важно, на чьей стороне) участник революции, а стало быть, со мной нечего нянькаться, — молодцы! В своем доносительстве они более честны, чем подлинные организаторы ре-волюции. Во всяком случае, они поступили на уров-не нашего советского обывателя, и у меня не должно быть никаких претензий. Самое разумное — забыть о тронной речи, молча отдать деньги и исчезнуть. Мне ещё надо поблагодарить их, что они не побежали спасать меня, тогда бы уж точно и меня погубили, и себя подставили...

— Мужчина, что вы здесь делаете, ваши доку-менты?! — прервал мои мысли неизвестно откуда взявшийся милиционер.

Я впервые видел милиционера моложе себя — па-цан лет восемнадцати. Отсюда и непривычное для меня обращение: обычно ко мне всегда обращались на «ты» или — «вы-вы, молодой человек, да не кру-тите головой, вам говорят...». А тут — мужчина! Я да-же маленько подрос в собственных глазах, надулся от важности, закинул ногу на ногу.

— Собственно, в чём дело, при чём здесь доку-менты? — сказал я и несколько с вызовом стал пока-чивать ногой едва ли не перед носом милиционера.

Он вначале побледнел, потом лицо его сделалось пунцовым-пунцовым, точно у школьника. Я непро-извольно встал, относя его волнение на свою бесце-ремонность, но в ту же секунду он вытянулся в струнку и отдал мне честь, прищёлкнув каблуками.

— Простите, меня никто не предупредил, — из-виняясь, сказал пацан-милиционер и опять покрас-нел, словно девица.

Взаимно озадаченные, мы не понимали друг друга до тех пор, пока страж порядка не приподнял штани-ны — белые носки! Он, как и я, был в белых носках, и это лучше всяких слов объясняло его извинения. Взяв инициативу в свои руки, я узнал, что по так называе-мому молодёжному призыву он только вчера зачис-лен в какой-то резервный отряд особого назначения и, по сути, объекты ДВГ и кинотеатр, который нахо-дится через дорогу, поручены ему без всякого ин-структажа. Он даже надеялся получить необходимый инструктаж от меня. (Потому что вчера, ещё в Сосни-хе, им сказали, что они поступают в распоряжение ре-волюционного штаба.) На мой прямой вопрос: «При чём здесь штаб и белые носки?» — он многозначи-тельно улыбнулся и сказал, что про белые носки впер-вые слышит. Чувствовалось, что он очень доволен своим ответом, в глазах прыгали веселые бесенята: мол, получил?! «Господи, что происходит?» — подумал я, понимая, что ничего больше не добыю от это-го новенького, как чемоданчик, конспиратора.

Досадуя, сказал, что и я надел их по чистой слу-чайности, других не было. В ответ, всё так же много-значительно улыбаясь, он опять козырнул — ждет распоряжений. Я почувствовал, что снова, помимо воли, втягиваюсь в какую-то чёрную не то игру, не то дыру, из которой наверняка не выберусь.

— Никаких распоряжений не будет, нахожусь здесь сугубо как частное лицо, — сказал я. — Жду людей, которые, возможно, не придут.. понимаете?

Он всё понял, даже немного обиделся на мою не-доверчивость, сказал, что как бы отлучится в пали-садничек, но из укрытия будет наблюдать за проис-ходящим и, в случае чего, придет на выручку.

Я согласился. Ничего другого и не оставалось: с минуты на минуту должны были объявиться лит-объединенцы и понятливый пацан — милиционер мог одним своим присутствием отпугнуть их.

## Глава 14

Замечателен город Н..., лучший из древнерусских... Река, кремль, зелёные холмы и храмы на холмах. Тают в небе маковки куполов, далеко окрест слышится неслышимый малиновый звон колоколов, плывущий из глубины веков. Вот и мимо нас проплывёт, не потревожив чувств, потому что нас как бы и нет на земле. Пусты звонницы наших церквей, музейный холодок мертвит наши иконостасы, потому что более всего и всех мертвы мы сами. Тусклость, серость и горечь, да и то какая-то невсамделишная, вот что такое — мы. Души умерших писателей, рождённых до учения Христа, Данте поместил между адом и раем, в городе, лишённом даже намека на жизнь. А мы сами по своей воле, отвергнув прошлое, поселились в Лимбе. Но что-то уже сдвинулось — ад или рай? Тысячи русских святых идут и идут ангельским крестным ходом — день Успения Пресвятой Богородицы. Предосенняя безгрешная теплынь и тишина, солнечные лучи скользят по листве, и небо сходит на землю, и земля приподнимается к небесам.

Пресвятая Богородица, сделай так, чтобы маме было хорошо и всем матерям земли Русской. Пречистая Дева Мария, сделай так, чтобы Розочка ни в чём не нуждалась, а меня просвети, потому что не хочу участвовать во всякой лжи, а сам ни одной молитвы не знаю.

Я стал сочинять молитву к Пресвятой Богородице и вдруг почувствовал, как хорошо вокруг — тихо, солнечно и просторно. И как тесно и уныло внутри меня: вся моя жизнь литературного работника — одно сплошное недоразумение. Здесь, на земле, пусть из глубины веков, но теплится божественное дыхание. А во мне нет никакой глубины, и высоты не чувствую — тусклость, серость и никчёмность. Наверное, я и есть тот новый советский человек, возвращённый плодо-овощной базой коммунистических идей?.. При всей своей материальности я по сути теоретический человек, то есть нематериальный. Только такой человек, как я, и мог жить будущим, так сказать, пребывать в несуществующей реальности.

— Дядя, у вас есть деньги? — перебил мои размышления мальчик лет десяти в голубой плащёвой курточке.

Он так опасливо оглядывался по сторонам, что и я оглянулся. Вокруг никого не было, только за стеной кустарника как будто что-то мелькнуло.

— А тебе зачем? — спросил я. — Тебя кто-то послал ко мне?

— Никто не посылал, — ответил мальчик и, коротко взглянув на меня, смутился, потупившись, стал ковырять землю красным кедом.

Что-то неуловимо знакомое угадывалось в его лице — крутой нависающий лоб и эти широко поставленные глаза я как будто уже видел — староста?! Наверняка его внук или внучатый племянник. Я даже задержал дыхание, боялся перевести дух.

— Давай сделаем так, — предложил я. — Ты сейчас пойдёшь и скажешь тому или тем, кто тебя послал, что деньги у меня есть, но не мои. Пусть подойдут ко мне, им нечего бояться, я должен отдавать деньги каждому в руки и под роспись. Скажи, что литературный кружок закрыт на неизвестное время.

— А все знают, что он закрыт.

Мальчик с любопытством посмотрел на меня и тут же испуганно присел. Из кустарника призывно свистнули, но он уже дал стрекача с прытью зайца. Голубая курточка скользнула между ветвей, и всё исчезло, будто и не было ничего. Я прислушался, но вместо треска веток и шороха листвы услышал за спиной отчетливо приближающиеся шаги. Мне даже оглядываться не надо было, чтобы догадаться — пацан-милиционер.

На этот раз мы чрезвычайно быстро выяснили отношения. По-военному чётко отдал распоряжение: скрыться ему в палисадничке и не появляться, пока не позову. Во всяком случае, не раньше чем в восемнадцать двадцать. (Я надеялся, что полчаса мне за глаза хватит, чтобы войти в контакт с литобъединенцами.) Увы, в девятнадцать ноль-ноль, проклиная белые носки, пацана-милиционера, но больше всего свое обещание «отдавать деньги под роспись», принял решение удалиться. Уходя, зашёл под деревья и за стеной кустарника обнаружил довольно-таки обширную площадь свежепрямой травы. Сомнений не было — наткнулся на место лёжки тех, кто подсылал мальчишку.

По окуркам, вмятинам и другим разрозненным свидетельствам, точно следопыт, установил, что взрослых наблюдателей было двое и объектом наблюдения был Дом Всех Газет (в сектор видимости попадало не только парадное с крыльцом, но и большая часть палисадничка с милиционером). Зная, что староста и его помощник живут на проспекте Мира, направил стопы на соответствующую остановку автобуса. Но и они знали, что я знаю, а потому, наверное, изменили маршрут. Самым досадным было, что, уверенные в моей связи с милицией (сами видели), они непременно постараются сообщить об этом литобъединенцам и впредь все мои попытки отдать деньги будут восприниматься как поползновения провокатора. Воистину не деньги, а какие-то тридцать сребреников! Мне захотелось выбросить их, такими омерзительными они представились. С трудом пересилил себя: выбрасывать трудовые деньги (подкожные несомненно были таковыми) — кошунственно. Тем более что литобъединенцев (по-советски добропорядочных обывателей) я простил.

Домой шёл опять пешком, и если всю дорогу в ДВГ клеймил позором своих мнимых классиков, то теперь — себя. Дал слово Божьей Матери, что деньги литобъединенцев не просто так потрачу, а с толком: буду жить на них и писать. Со студенческой скамьи мечтал я о внезапном богатстве, которое позволило

бы не думать о хлебе насущном, не забивать голову унижительными мыслями о пропитании, а творить, создавать бессмертные произведения. Настало время осуществить мечту, тем более что бессмертные творения будут обязательно издаваться огромными тиражами и деньги сами потекут в мои карманы. Тогда-то и представится случай каким-то образом отблагодарить нынешних кредиторов. Я до того настроился писать (оправдать доверие, возложенное на меня подкожными деньгами), что мысль о возможной случайности, которая могла бы помешать осуществить задуманное, показалась гласом Господним. Дело в том, что на подсознательном уровне я мгновенно понял, что помешать может только Розочка, её возвращение. Но не признался себе, увернулся от подсознательного и как ни в чём не бывало попросил Божью Матерь оградить меня от всех возможных и невозможных помех.

И вот, как только попросил, сразу же почувствовал неискренность просьбы и даже испугался, что Богородица удовлетворит её. Да-да, пошёл на попятную. Стал заверять Богородицу, что Розочка своим возвращением не только не помешает, а, наоборот, усилит моё вдохновение и тем самым ускорит написание бессмертных произведений. В своих просьбах и увещеваниях я дошёл до того, что предложил Богородице сделку — Она возвращает Розочку, а я взамен не беру ни копейки из подкожных денег. Разве что на издание коллективного сборника?! При всей бездарности авторов его нельзя отметить, потому что в угоду мне, когда стану известным классиком, его непременно издадут. Главное — стать классиком, а для этого нужно только одно: чтобы Розочка возвратилась домой, и возвратилась немедленно.

Всё у меня сводилось к Розочке, и я ускорил шаг — вдруг она уже вернулась?! Глупо?! Для тех глупо, кто никогда не слышал гласа Господнего.

На вахте в общежитии мне сказали, что ключ от комнаты и мою записку забрала жена — уже с час, как она дома.

— Как дома?! — не понял я.

То есть понял, но не поверил, подумал, что вахтерша меня спутала с кем-то другим или по чьему-то наущению разыгрывает. (Сама-то она до розыгрыша не дотумкала бы.)

— С тобой-то всё ладно? А побелел-то как! — испугалась вахтёрша.

— Я вам не верю, — сказал я. — Моя жена... Где она была? — спросил, не понимая, о чём спрашиваю.

Мне хотелось только одного — чтобы эта недалёкая женщина наконец-то поняла, что мы говорим действительно о моей жене и ни о ком другом.

— Вот-вот, я тоже ей не поверила, — обрадованно подхватила вахтерша. — Говорю ей: как же может быть, чтобы ты вернулась из командировки, неужто нынче ездют по командировкам со своими кроватями, холодильниками и телевизерами?

Женщина стала изображать, как строго и недовольно посмотрела на неё Розочка, как, взяв ключ, оскорбленно дернула головкой и как горделиво удалилась, словно не она, нахалка, внаглую все свезла из комнаты, а у неё свезли.

Сомнений быть не могло — имелась в виду Розочка. Сердце моё, точно очнувшаяся птичка, встрепенулось навстречу небесной лазури, солнечным лучам, и от горизонта до горизонта я увидел Приобскую степь, степь моей юности — поля цветов как поля любви. До чего же интересная женщина эта вахтёрша, она кипит, гневается, а от неё исходят волны радости и даже восторга, подумал я и, не чувствуя ног, помчался наверх, к Розочке.

Не помню уж, на площадке какого этажа остановился. Меня осенило — Розочка, очевидно, приехала уставшей, голодной, а у меня, как всегда, пусто. То есть на подоконнике от вчерашнего осталась зачерствевшая корка хлеба, но на ужин зачерствевшую корку хлеба — это форменное варварство!

Я неопишимо обрадовался, что деньги при мне, что их не выбросил. У меня даже холодок пробежал по спине — что бы я сейчас делал?! В ответ где-то далеко-далеко в глубине души отворилось как бы окошечко кассы, лица я не разглядел, а голос как будто мамин: «Обещал ни копейки не брать из чужих денег, а сам?!» О Господи, как можно, какие чужие, когда Розочка голодна! Восстало всё во мне с такой горячностью, что окошечко вмиг захлопнулось, и больше я уже не вспоминал ни о своих просьбах, ни об увещеваниях, а летел как на крыльях.

Пробегая мимо вахтерши, крикнул, чтобы ни в коем случае не отпускала Розочку, придержала до моего возвращения.

На автобусной остановке, долго не раздумывая, сел в первое попавшееся такси и поехал на вокзал в дежурный магазин. Там было пусто — прилавки и витрины опахнули каким-то залежалым потолочным пространством. Слава богу, что в хлебном отделе был хлеб, а в рыбном — пирамиды консервов ставриды в томатном соусе. Потом поехал в ресторан «Центральный» — взял колбасы, сыра и, главное, на разлив двухлитровую банку водки и столько же очень хорошего, но густоватого портвейна. Наклонив флягу, буфетчица черпала его столовским половником и нахваливала так, как нахваливают борщ — свежий, запашистый, ешьте на здоровье!

Меня, конечно, больше всего удивила водка на разлив — нововведение к алкогольному запрету показалось весьма оригинальным, но я промолчал, чтобы не выказывать своего невежества и не вызывать подозрений. Обслуживая нас, буфетчица опасалась внезапного визита народного контроля, во всяком случае, попросила одну из официанток постоять у двери в подвал, в который мы (человек восемь) прошли за нею. Тут-то, снабдив банками изпод застарелых огурцов, она и отоварила нас. Денег я не жалел, единственная беда — освобожденные

подкожные рубли трудно поддавались подсчёту, и, нервничая, буфетчица попросила меня подождать, пока обслужит всех. Зато потом помогла: нашла сетку из-под лука и проводила через чёрный ход. Напоследок сказала, чтобы не продавал «рассыпуху» (её слово) возле ресторана, а то и сам погорю, и на неё тень брошу — она приняла меня за мелкого «нового русского».

Мне стало смешно — виною, несомненно, были подкожные деньги, они, как и белые носки, создали вокруг меня ауру, за которой я, настоящий Митя Слёзкин, не просматривался. Кстати, таксист принял меня за картежника. Когда подъехали к общежитию, он сказал, что самое опасное в компании — это затесавшийся сукин сын с краплеными картами, такого надо сразу сбрасывать с пятого этажа. На этот раз мне было не смешно, я только чуть-чуть улыбнулся, да и то не от веселья, а чтобы потрафить таксисту. И уж совсем я растерялся, когда вахтёрша встретила вопросом: видел ли я двух представительных дедков с мальчиком в голубенькой курточке, мол, вот только что они вышли?

Никого я не видел, но догадался, о ком речь. Вахтёрша подала записку, написанную красивым ученическим почерком: «Отныне Вас нету, Вы запутались, не впутывайте нас. Ничего от Вас нам не нужно — отвяжитесь по-благородному».

— Ну что там — понятия?! — не скрывая любопытства, поинтересовалась вахтёрша и пожаловалась, что без очков не смогла прочитать, а очки забыла.

— Какие понятия, что за глупость?!

Вахтёрша обиделась, дескать, сам сказал, чтобы придержала разлюбленную жёнушку, она и дедков уведомила, чтобы подождали: он, Митя, за милицией побегал.

— Какой милицией?!

Я застонал и даже топнул ногой от негодования, но не на вахтёршу, нет — на ауру, в которой бился, как муха в паутине.

— Поймите вы, тётя Глаша...

— Да не тётя Глаша я, а Алина Спиридоновна, — возмутилась вахтёрша на моё топание и обзывание чужим именем.

— Да поймите же вы наконец, Алина Спиридоновна, что моя разлюбленная жёнушка тоже не тётя Глаша, а моя жена Роза и, если на то пошло, я жизни своей не пожалею и уокошу всякого за напраслину! Вот сейчас выйду на улицу и уокошу, — пригрозил я и действительно вышел на улицу, чтобы посмотреть, тут ли староста со своим помощником и внуком в голубой курточке.

Никого, конечно, не было, но все равно хорошо, что вышел и немного освежился. Вахтёрша тоже пришла в себя, она очень напугалась, потому что ещё никогда не видела меня таким разъярённым. В общем, мы с нею тут же и помирились, я, торопясь наверх, позабыл про свою сетку с продуктами — она

окликнула и даже ухмыльнулась, что из-за ссоры с нею я больше неё расстроился.

— Забери свои соки, а то ить и поесть нечего, — сказала она и отвернулась (мои банки в сетке стояли у неё на вахтенном столе).

Я молча вернулся и забрал, она уколола вослед:

— Мы его всюду обороняем, наш поэт Митя Слёзкин, а он видал какой?!

Да, вот такой и всегда буду таким, а то попривыкали — Митя Слёзкин мухи не обидит. Очень даже обидит, если кто-то посмеет встать у него на пути, хорохорясь, подумал я о себе в третьем лице и, почувствовав прилив храбрости, опять заспешил наверх, к Розочке.

## Глава 15

Вся моя храбрость перед дверью в комнату вдруг улетучилась. Казалось бы, стучись, входи — я не смел, боялся увидеть Розочку, и в то же время всё во мне трепетало от желания лицезреть её немедленно. Разрываемый чувствами, я не мог пошевелиться, на меня словно сошел столбняк. Уж не знаю, сколько бы длилось моё стоянье, если бы не дверь, внезапно со скрипом приоткрывшаяся. Одиноким скулящим скрип, жалобный, как плач щенка, отозвался в душе такой сиротливостью, что я испугался: Розочки нет, ушла, не дождалась?!

Я вбежал в комнату и тихо опустил на колени. Розочка спала, свернувшись калачиком, подперев кулачками подбородок. Мне показалось, что, смежив ресницы, она смотрит на меня и слегка улыбается. Я отставил сетку со снедью и, чтобы не шуметь, на четвереньках приблизился к ней. Как сейчас помню, от неё веяло ароматом весенних полевых цветов и я вполне реально услышал трели жаворонков.

— Ро-зочка, — прошептал я и с нежностью поцеловал её лоб, обрамленный смоляными блестящими локонами.

Реснички её чуть-чуть вздрогнули, но не открылись. Подложив ладонь под щеку, она вздохнула, отчетливо сказав:

— А-а, это ты?

— Да, — ответил я и почувствовал, что Розочка спит, но узнала меня сквозь сон, сквозь полудрему.

Бывает такое естественное полугипнотическое состояние, когда человек и не спит и не бодрствует. Мама говорила, что если в таком состоянии спрашивать спящего, то он либо проснётся, либо начнет отвечать на вопросы.

Не знаю, какая шлея попала мне под хвост, но я стал спрашивать. Наклонился к самому уху и тихо так:

— Розочка, солнышко, скажи своему Мите, где ты была?

— Не скажу! — отрезала Розочка, да так отчетливо, с такой свойственной ей интонацией, что я вздрогнул: проснулась!

Нет, она не проснулась, как спала, так и продолжала спать, даже дыхание не изменилось — ровное, спокойное.

— Не скажешь — и не надо, — мягко согласился я. — Тогда ответь, мое солнышко, с кем ты была, был у тебя какой-нибудь мужчина? — спросил и в волнении затаился, дышать перестал.

Что за дурацкий характер, спросить-то спросил, а сам ни жив ни мертв, ну-ка ответит, что был у неё какой-нибудь странный тип наподобие того, что при встрече со мной отворачивался к стене, а может быть, и сам он, некий Петька Ряскин, — что тогда?.. Решил: больше не буду спрашивать, ответит — ответит, а нет — это нехорошо выпытывать тайны у спящего, хуже чтения чужих писем и подглядывания в замочную скважину.

— Был, был у меня муж...

Дальше она сказала что-то невнятное — я не понял, но и того, что понял, было для меня с головкой. Сердце так заныло, так заболело, и как-то сразу почувствовалась тяжесть тела: стоял на коленях, но и колени вмиг ослабели (стоило невероятных усилий удерживаться за край «теннисного стола», чтобы совсем уже не съехать на пол).

— Как его звали? — с безнадёжностью выдавил я.

Видит бог, я не хотел знать, как его звали, но зачем-то спросил — зачем?

— Митей, Митей его звали, — глубоко вздохнув, ответила Розочка так горестно, словно бы где-то там, в своих сокровенных чувствах, пожалела меня.

Господи, как я был тронут, как обрадовался её словам — за год нашей совместной жизни она наяву никогда не жалела меня. (Надо, конечно, понимать, что женщина жалеет только того, кого любит.)

Я воспрял, хотел опростать сетку и бежать на кухню, чтобы поджарить колбасы, гренков, в общем, всего, что есть, что любит Розочка, но меня вдруг словно кто-то ткнул под ребро: если его звали Митей, то за кого сейчас она принимает тебя? Уж не за того ли, с кем находилась все эти две недели?!

— А меня, меня как зовут? — ележно пролепетал я и, чувствуя, что больше не вынесу этой пытки, подсказал: — Может, я и есть Митя, твой любящий муж?

— Нет, ты не Митя, ты хуже его в тыщу раз, ты — подлец! — гневно сказала она, и её лицо пошло красными пятнами.

Розочка слегка приподнялась и, по-моему, открыв глаза, стала поворачиваться на другой бок. Я говорю «по-моему» потому, что не уверен, гнев её напугал меня, и я пал ниц, чтобы не предстать перед ней в образе пусть мнимого, но подлеца.

Я лежал на полу, и в глазах у меня закипали слезы от обиды за неё — она столько вынесла всяких лишений, вернулась домой, а я... Я ненавижу себя — ведь понимаю, что того-то и того-то делать нельзя, а делаю. И что самое гнусное, во время этого делания наблюдаю себя как бы со стороны. Да-да, как творческий человек, всегда вижу себя как некую отдельную

субстанцию. Вот именно вижу, а остановиться не могу. Потом каюсь, стенаю, мол, предвидел, что буду каяться, но в ту роковую минуту я соблазнился именно тем, что я творческий человек, а творческому человеку всё позволено, как инженеру человеческих душ.

Я и тогда, плача у постели, понимал, что по своей вине плачу, по своей вине размазываю слезы по полу. И оттого, что понимал, всё происходящее казалось ещё более обидным, ещё более безысходным.

Господи, сколько трагедий незримо разворачивается в общежитиях! Если я на десяти квадратах жилплощади уже несколько раз задыхался от горя, то сколько же его рассеяно по всему городу, по всей стране и по всему земному шару?!

— Митя, ты-ы?! На полу, в пиджаке, ты же запачкаешься! — услышал я удивлённый голос над головой, в котором, опережая слова, излилось неизъяснимое чувство взаимной узнанности, словно мы ни на минуту не расставались.

Роза, Розочка! Есть ли где-нибудь во вселенной подобная женщина, поднимающая простым словом лежмя лежащего?!

В нашем школьном литкружке был знаменитый на всю школу парень Валерий Губкин. Я восхищался его стихами.

На танцы бегают мальчишки,  
за них тревожусь от души,  
они, как новенькие книжки,  
не знаешь только — хороши ль?

Они ещё проходят классы,  
девчонок запросто меняют  
не потому, что ловеласы,  
они себя в них проверяют.

И этим кое-кто гордится,  
я по себе всё это знаю,  
но только это — не годится,  
девчонки тоже проверяют...

Или ещё стихотворение, которое он прислал в нашу газету, когда уже учился на факультете журналистики.

Из чего же девчонки сделаны?  
Видно, этого не пойму,  
видно, это понять не велено  
и не сказано — почему?..

Может, ими мы ошаманены?  
Присмотритесь, как странно одеты.  
И причём все какие-то маминны —  
Вдруг они не с нашей планеты?!

Я боюсь своего открытия,  
когда вижу, как их обижают,

когда вижу, как к ним, в общежитие,  
парни пьяные приезжают.

Ну а вдруг такое случится:  
поздней ночью, когда все спят,  
непонятной волшебной птицей  
бросят нас и все улетят!

Это страшно, воочию вижу,  
как повянет мой шар земной.  
Я тебя никогда не обижу,  
только ты будь всегда со мной.

Тогда Валерий Губкин учился в десятом классе, а я в седьмом. Он, как и все старшекласники, не замечал меня. Но однажды мое стихотворение «Про пастушка Петю» было опубликовано в районной газете, и Губкин сказал мне, чтобы я почитал свои стихи. Это была большая честь. В пустом классе русской литературы Губкин лежал на скамейке и, вперившись в потолок, меланхолично слушал. Потом сказал: хватит, ему всё ясно — и посоветовал прочитанные стихи вместе с «Пастушком Петей» включить в тринадцатый том полного собрания моих сочинений. Тогда я не понимал, что он издевается, наоборот, воспринял его совет как самую высокую оценку своим произведениям. Единственное, что меня озадачило, — его вопрос: знаю ли я Светланку Карманову?

По внеклассному чтению мы проходили творчество поэтесс. Я был знаком со стихами Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, я даже знал, что в семнадцатом веке писала прекрасные стихи мексиканская поэтесса Хуана Инес де ла Крус, а вот Светланы Кармановой, очевидно новой восходящей знаменитости, не знал. Разумеется, как автор тринадцатого тома я чувствовал себя униженным и оскорблённым, но честно признался, что нет, не знаю Светланы Кармановой и никогда ничего не слышал о ней.

— Ну, тогда мы с тобой каши не сварим, — сказал Валерий Губкин и, привстав, окинул меня таким уничтожающим взглядом, что я понял: не зная Кармановой, отныне не имею права писать стихи.

Светлана Карманова оказалась одноклассницей Валерия Губкина. Она никогда не писала стихи, и я был оскорблён до глубины души тем, что Губкин посмел поставить её выше знаменитейших поэтесс. Он пал в моих глазах, я даже перестал с ним здороваться. И только учась в Литинституте, когда познакомился с Розочкой, я простил его. Уже тогда, в школе, он знал, что прекраснейшее слово всех поэтесс мира, да что поэтесс — поэтов, бледнеет перед словом возлюбленной.

Розочка шутливо схватила меня за шиворот и давай затаскивать на кровать. Я упирался и в ответ стаскивал её на пол. Мы, дурачась, смеялись и кувыркались на постели, но ещё прежде, воспряв во взаим-

ной признанности, душа моя устремилась на свет, как мотылёк. Я радостно порхал над свечой, я кружился в танце, всем сердцем наслаждаясь, что «Крылышка золотописьмом / Тончайших жил, / Кузнечик в кузов пуза уложил / Прибрежных много трав и вер. / «Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер. / О, лебедиво! О, озари!»

Мы с Розочкой были вместе десять дней и десять ночей. В субботу, седьмого сентября 1991 года, она уехала в Москву. Не нужно думать, что мы поссорились или наскучили друг другу — ничуть не бывало. На перроне Розочка сказала, что эти десять дней и десять ночей были лучшими в её жизни. Стоит ли говорить обо мне?! Весело смеясь, Розочка упраскивала:

— Не будь таким мудрым и строгим хотя бы во время расставания!

Но я был мудр и строг. Кутаясь в сиреневую кофточку, Розочка прильнула ко мне, и я цепко держал её в своих объятиях, пока проводница не объявила, что пора отъезжающим занять свои места.

Бледная, с долгой шеей, Розочка стояла на вагонной площадке, точно Грация. Она махала мне, она говорила, чтобы я помнил её наказания. Я строго кивал в ответ и мудро молчал, потому что знал, что лишился голоса и могу выдавить из себя только нечленораздельный вопль.

Поезд тронулся. Вначале я шёл за ним не отставая. Потом он ускорился, резвее застучали колёса, и вагоны, мягко наплывая друг на друга, поглотили родное сиреневое пятнышко. Впрочем, я шёл и шёл: мимо здания вокзала, мимо киосков, мимо каких-то водокачек и станционных построек. За пригородными кассами, не сбавляя шага, свернул в город и насколько не удивился, когда через какое-то время оказался на крутом холме возле так называемого Памятника Победы.

Никогда я не любил это грандиозное по своей безвкусице сооружение. Дутое и нахальное, с потугами до Медного всадника, оно не олицетворяло ничего, кроме воинствующей бездарности. Только мои литобъединенцы и могли по-настоящему воспеть сей монумент. И они воспели. Один из Маяковских написал буквально следующее: «Прекрасный конь здесь не валялся, / Он здесь воспрыгнул на бугор И навсегда на нем остался... / Победный витязь — / Святогор!» Помнится, помощник старосты (он тогда ещё не был Некрасовым) восхищённо заплотировал автору. Все ждали, что скажу я, но я ещё был связан по рукам и ногам (на заседании присутствовало несколько человек не совсем бездарных), а потому попросил каждого, высказывающегося о стихотворении, не забывать о величии советского патриотизма.

Не совсем бездарные молча встали и покинули заседание. Один из них задержался у двери, сказал, что ему понятно, почему «Прекрасный конь здесь не валялся, Он здесь воспрыгнул на бугор...», но при

чем здесь «витязь», притом «победный», если он богатырь — «Святогор»?

Да-да, это было так плохо, что аж хорошо!.. Чтобы не расхохотаться вслух, я свёл брови, как самурай, и, не задумываясь, нашёл в стихотворении множество достоинств как раз там, где их и в помине не было. Да-да, я восхищался трюфелями в квашеной капусте.

Теперь же я был мудр и строг, и, словно в отместку за похвалу трюфелей в квашеной капусте, ничто не могло вывести меня из этого удручающего состояния. Ни уговоры Розочки на перроне, ни стихи, прежде вызывавшие смех, — ничто. Это было состояние какого-то внезапного отключения от желаний. В свои двадцать три года я чувствовал себя столетним старцем. Наверное, подобное состояние и есть нирвана. Во всяком случае, я ощущал, что мои желания как бы отслоились от меня, а поток сознания стал более неподвижным, хотя и более всеобъемлющим.

Я сел спиной к «победному витязю». И сразу даль реки приподнялась, раздвинулась, и где-то далеко-далеко, словно бы на краю земли, встала во весь рост колокольня Юрьева монастыря, а чуть левее обозначилась тёмная маковка купола храма Георгия Победоносца. «Россия, Русь! Храни себя, храни!..» Я услышал тихий вечерний вздох, ветви ив внизу покачнулись от внезапного ветерка, сошедшего сверху, и словно бы задумались. «Россия, Русь! Храни себя, храни!..» И опять вздох, и мягкое согласие ив, как будто слова поэта вспомнились не лично мне, а были растворены во всём, что я видел вокруг. Поэт — это прежде всего твоё заветное слово! И пусть «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...», ясно одно: оно не может быть лживым.

Я смотрел в сиреневую даль сгущающихся сумерек, и мне казалось, что Розочка где-то здесь, она никуда не уехала и каждую секунду может окликнуть меня и мы вместе пойдём домой.

## Глава 16

Первые дни нашей встречи были самыми обыденными, то есть она затеяла генеральную уборку со стиркой, а я помогал ей. Потом мы отдохали. Глядя в потолок, она засыпала, а я, привстав, смотрел на неё и смотрел. Ямочки на щеках её разглаживались, и чувствовалось, что она отходит от усталости, которая накопилась в ней за время её отсутствия. Когда Розочка просыпалась, я притворялся спящим, и мне было приятно, что, убедившись, что я с нею, она осторожно прижималась ко мне и опять засыпала. С каждым днём она чувствовала себя все лучше и лучше. Лишь на пятый день мы стали разговоривать, да и то Розочка в основном слушала и улыбалась. Потом она стала всё чаще задумываться, и лицо её делалось каким-то опустевшим. А однажды она вдруг ни с того ни с сего сказала: «Всё, хватит

играть в детский сад». И засобиралась в Москву: она решила восстановиться в медучилище и окончить его. Я не перечил ей, я спустился вниз и с вахты позвонил на турбазу, что размещалась как раз у стен Юрьева монастыря. Я попросил номер на двоих на три дня. Я объяснил это тем, что мы, молодая чета, покрасили комнату в общежитии и нам негде жить.

Во время моего разговора с турбазой вахтёрша, известная Алина Спиридоновна, неотрывно смотрела в окно и, презрительно фыркая, громко возмущалась:

— Ох, есть ещё, есть ещё подлянка в подлецах!

Зато как обрадовалась Розочка, когда вместо вокзала мы приехали на турбазу! Уже в гостинице она поцеловала меня и сказала:

— Митя, ты настоящий джентльмен! И если ты всё ещё считаешь Розарию Фёдоровну своей Розочкой, выслушай её со всей серьёзностью и исполни её наказы.

Она наказала мне, чтобы я не ждал её или ждал, не ожидая, что она вернется. Потому что она уже не та Розочка. Она даже не та Розария Фёдоровна уже. Она другая потому, что те были пустышками, а она, настоящая, теперь имеет высокую цель в жизни.

— У нас с тобой ещё есть семейные узы, — промямлил я неуверенно (опасался, что она сейчас же напомнит, что сменила паспорт и фамилию).

— Ах, вот оно в чём дело — узы! — улыбочиво воскликнула Розочка, и лицо её вдруг посерьезнело и даже построжело. — Выходит, ты хочешь, чтобы я предала свою высокую цель и вернулась к тебе? Ты этого хочешь, Митя?!

В её вопросах я почувствовал не столько изумление, сколько угрозу.

— Нет-нет, я только хочу, чтобы ты была всегда со мной, чтобы мы жили вместе.

— Эх ты, Митя! Ты ещё не знаешь о моей цели, поэтому так говоришь!.. А цель у меня такая, что исключает совместное проживание с кем бы то ни было, в том числе и с тобою.

Она растрогалась и поцеловала меня в лоб с такой неизбывной горечью, будто покойника. Мне стало страшно: что она задумала, что это за цель, которая исключает совместное проживание с кем бы то ни было?! Может, это действительно Чернобыль, какие-нибудь секретные экологические последствия?!

— Розочка, цветочек, скажи мне о своей цели! — взмолился я, подозревая бог знает что.

— А-а, испугался! — внезапно обрадовалась Розочка и, как ни в чём не бывало, принялась разбирать постель.

Надо признать, что с возвращением Розочки в душе моей действительно поселился страх, переходящий в какую-то беспричинную тоску. Особенно болезненно я ощутил её на турбазе, когда Розочка рассказывала, с какими мытарствами ей пришлось столкнуться, чтобы продать наши холодильник, цветной телевизор, шифоньер и диван-кровать.

— Зато приехала вся в обновках, — сказала тогда Розочка и прошлась возле меня в известной сиреновой кофточке, американских джинсах и красно-белых кроссовках «Найк».

— Нет-нет, — отменила она свой выход, — это не в счёт... Отвернись!

Она взяла сумочку (тоже новую, с красным треугольником на крышечке), очень похожую на санитарную, и по характерным шумам, сопровождавшим её приготовления, я догадался, что она решила предстать во всем блеске. Так и есть: Розочка накрасила губы, подвела брови и, накинув сумочку на плечо, прошлась возле меня взад-вперёд словно топ-модель.

— Ну что, Митя?! — спросила она, светясь.

— Отлично! — сказал я.

— И ещё ко всему... английское нижнее бельё. — Розочка вытащила его из сумочки, оно умещалось у неё на ладони, словно носовой платочек, и горделиво объявила, что его вполне можно утолкать в спичечный коробок.

Никогда в жизни я не видел подобных аксессуаров — гарнитур состоял из двух предметов: чёрного прозрачного бюстгалтера из какой-то растягивающейся кисеи и таких же прозрачных трусиков, которые самопроизвольно стягивались до такой степени, что превращались в ничто.

— Где ты это всё взяла? — поинтересовался безо всякого умысла, но Розочка вдруг рассердилась.

— Что, интересно? Очень интересно? — жёстко спросила она и, помолчав, сообщила, что всё это она взяла в Манчестере. — Разве ты не знаешь, что я живу в Манчестер Сити?!

Она нарочно так сказала, чтобы поссориться, но я смолчал, я проглотил пилюлю. Да-а, именно тогда во мне поселился страх, переходящий в беспричинную тоску.

Впрочем, на турбазе не всё было плохо, а совсем наоборот. Разобрав постель и приняв душ, Розочка облачилась в английское бельё. Уютно устроившись в свежей постели, она сказала, что, так и быть, откроеет свою высокую цель. И открыла — восьмого сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, спасшей Первопрестольную от нашествия Тамерлана, ей край как надо быть в Москве (Розочка решила принять православие, совершить обряд крещения). После окончания медучилища, а может, и раньше (она ещё недостаточно знакома с церковными порядками) Розочка непременно уйдёт в монастырь, пострижётся в монахини (сейчас это широко практикуется в Московской епархии). Потом она постарается и, это самое главное, станет российской матерью Терезой, то есть матерью Розарией.

— Ты удивлён, Митя, или ты понял меня? — спросила Розочка и посмотрела с той осторожностью, которая невольно выдает скрываемое волнение.

Да-да, я уловил, что вопрос отнюдь не праздный. Возможно, она потому только и приехала со мной на

турбазу, что прежде всего хотела узнать моё мнение о своей высокой цели? Мне было приятно сознавать, что Розочка волнуется, что причиною — моё мнение.

— Нет, я не удивлен. Я понял тебя, — ответил я с грустью.

В самом деле, я не был удивлен. Раньше, бывало, она не раз ставила меня в тупик своей непредсказуемостью. Но с тех пор, как сменила паспорт и фамилию и в течение двух недель пустила по ветру все более-менее ценные вещи, я уже не удивлялся ничему, единственное — беспричинно тосковал.

— Митя, но если ты понял меня — почему грустный? Иди сюда, твоя Розочка тебя успокоит, — сказала она и, откинув одеяло, протянула руки, словно к младенцу.

Не знаю, в каких высших сферах пребывает наше счастье, когда оно не с нами, но точно знаю: где бы оно ни было, Розочка имеет к нему прямой доступ. Только такой человек, как она, мог всерьёз задаться целью стать российской матерью Терезой. Только ей и под силу столь высокая цель. Я ликовал, я гордился, я превозносил её цель выше небес.

— Ты согласен, что «мать Розария Российская» звучит восхитительно? — раз за разом спрашивала Розочка, уклоняясь от моих горячих лобзаний.

— Мать Розария Российская! Это замечательно, это бесподобно! — вскрикивал я в восторге между поцелуями.

Розочка в ответ весело смеялась, уступая, запрокидывала голову, и я, пользуясь её безмятежностью, ищуще целовал её губы, шею... и так далее.

— Митя, ты понимаешь, что как мать Розария я не имею права этого делать — это греховно, — разгорячённо вопрошала Розочка, но мы это делали...

— Да, понимаю, — задыхался я от счастья, — это прекрасно: ждать — не ожидая!..

Следующим её наказом было, чтобы я никогда не унывал, а писал и писал свои стихи и пьесы.

— Митя, — сказала она. — Тебе серьёзно повезло, что я ухожу от тебя. У каждого поэта есть своя Лаура, своя Беатриче, а у рыцаря Дульсинья. Я хочу, Митя, чтобы ты объединял в себе и поэта, и рыцаря, и ещё... Да-да — спонсора-золотодобытчика! Лучше умереть с кожаным поясом с золотом, чем без портков под забором. (Это она намекала на Артюра Рембо и Верлена, с биографиями которых я её познакомил.) Главное, конечно, пиши свои произведения, стремись к недостижимому. Я, может быть, и ухожу в недостижимость, чтобы разжечь твое вдохновение. Сейчас, Митя, наступает новое время, в Питере вон уже всюю всякие ВИА скупают стихи за хорошие деньги, а потом кладут их на музыку и исполняют за бешеные гонорары.

Розочка призналась, что возле одного злачного места (не уточнила какого) она даже поговорила с одним интеллигентным лицом, который и оптом, и в розницу торговал частушками. Лицо поведало, что особенно хорошо идут частушки с картинками, а ес-



ли на два голоса, то нарасхват, причём платят живой валютой.

— Запомни, Митя, что слава и деньги ходят рука об руку и рай с милрой в шалаше устраивают по большей части те, у кого куча денег. В общем, пиши свои произведения, устремляйся к недостижимому и не стесняйся продавать свои рукописи. Кстати, на рынке их называют «нетленками», — сообщила Розочка.

На исполнение наказов она отмерила полтора года, максимум — два.

— Через два года, как раз перед постригом (она окончит медучилище), мы встретимся и порешаем накопившиеся вопросы.

Да-да, Розочка так и сказала — «порешаем накопившиеся вопросы». За две недели в её лексиконе появилось столько новых слов и выражений, что я не знал, что и подумать. Впрочем, все её слова бледнели перед сутью наказов и действий во имя высокой цели.

Между тем я сидел возле «победного витязя», и сиреневые сумерки и первые проклевывающиеся звезды на небосводе — всё говорило, что я остался один, что Розочка всё-таки уехала и как-то надо жить дальше. Может, поехать к маме? А всего лучше — в Москву, там можно случайно встретиться с Розочкой. Нет, она не поверит в случайность, заподозрит подстроенность и, не дай бог, слежку! Тогда уж точно возненавидит...

Я поёжился и, встав, побрел в общежитие: пока буду выполнять наказания, так сказать, устремляться к недостижимому, а там посмотрим, решил я. У меня разболелась голова, и я уже ни о чём не думал, кроме как о койке.

## Глава 17

После отъезда Розочки я слёг. У меня то поднималась температура, «аж зашкаливал градусник», так говорила соседка. То — падала, и опять ниже положенной отметки.

— Покойники, и те горячей будут.

Это уже резюме Алины Спиридоновны, прихоронившей справляться: «Вызывать «скорую» или по-временить, чтобы уже сразу в морг?» Надо сказать, Алина Спиридоновна почему-то чувствовала себя виноватой передо мной и своими скабрёзными остротами пыталась заглушить вдруг пробудившееся в ней сочувствие к моей персоне. Скажу откровенно, я возненавидел её. Я чувствовал, что она догадывается об истинной причине моей болезни и, каким-то образом переключивая её на себя, жалеет меня, пытается облегчить мои страдания. Все её обеды, ужины и завтраки в термосочке (о которых, кстати, я ничего не знал) вызывали во мне внутренний гомерический смех. Вот уж действительно подобная жалость не то что унижает — убивает. Более того, я её не воспринимал иначе как пародию на Розочкину жа-

лость. Чашей, переполнившей моё терпение, послужил обмен постельного белья вне очереди.

Алина Спиридоновна безо всякого стука явилась в комнату с каким-то амбалом, слесарем-сантехником, который, ни слова не говоря, сгрёб меня с кровати и, словно мешок со всякими там шлангами и коленами, перебросил через плечо. Пока Алина Спиридоновна стаскивала простыни и наволочки, он стоял словно бесчувственный истукан. Я пытался противиться ему, изо всех сил дрыгал ногами и руками, но слесарь-верзила не реагировал. Все мои взбрыки он воспринял как предсмертные конвульсии, во всяком случае, поторопил вахтёршу:

— Аля, поживей, по-моему, горемыка отходит, уже начались судороги.

Он тут же позабыл обо мне, весело крякнул и ушипнул вахтершу. Она вскинулась и крепко прошлась по мне, потому что верзила ловко отгородился мною. Он даже поощрительно хохотнул:

— Так его, так, маленько повыбей из него пыль! — И совсем по-отечески пожурил меня: — Ты уж коли того... так уж не балуй, вишь, как напугал бабу?

Стеля постель, Алина Спиридоновна раз за разом наклонялась, но зорко следила за слесарем, который всячески норовил очутиться у неё сзади. В общем, я ещё стал невольным соучастником пошлых заигрываний — отвратительно!

— Что ты там квохчешь? — спустя некоторое время спросил меня слесарь-сантехник и резко, как вначале сгрёб, теперь сбросил с плеча.

— Господи, Тутатхамон!.. Тут же вместо панцирной сетки столешница, — испугалась вахтерша.

— То-то, думаю, чего это он так грякнул, — виновато удивился слесарь. — Да ты, Аля, не переживай, стихоплеты и писатели, они, как ведьмари, живучие. Погляди, как глаза закатывает — чистый колдун!

Слесарь-сантехник поведаль легкойруной Алине Спиридоновне, что укокошить ведьмаря не так-то просто: надо непременно разломать ближайший сруб колодца или на крайний случай — потолок над его кроватью.

Мне стало не по себе, не столько от плоских острот и шуточек слесаря-верзилы, сколько от своей беспомощности. Между тем слесарь продолжал:

— Пойдём, Аля... вишь, как глазами ест и ещё губами чего-то причмокивает — порчу наводит!

Алина Спиридоновна не поверила, сказала, что это от избытка температуры я пузыри пускаю. Но, положив свою горячую руку на мой лоб, тут же отдернула её:

— Гляди-кось, холодный, будто железный.

Она задумчиво помолчала, а потом поделилась догадкой:

— Это он страдает из-за своей непутёвой жёнушки, из-за неё впадает то в жар, то в холод.

Теперь не поверил сантехник. Когда выходили из комнаты, он сказал:

— От жары и холода только стояки лопаются... Прикидывается, ведьмарь, чтобы поближе к бабской юбке подлезть.

Пошлые ухаживания слесаря, навязчивая заботливость Алины Спиридоновны показали мне до того гнусными, что я невольно ужаснулся, представив, как подобные люди будут совместно горевать по поводу моей «безвременной кончины»:

— Ну что, проклятый Тутатхамон?! Ведь окочурился твой ведьмарь, а тебе хоть бы хны!.. К бабской юбке подлезть — Тутатхамонище!

— Да кто ж его знал, Аля? Я думал, он настоящий стихоплёт, писатель, а у него оказалась кишка тонка...

«Нет-нет, — сказал я себе, — всё что угодно, но только не это! Подобных гореваний «Тутатхамонов» даже в могиле не вынесу». Моё неприятие «безвременной кончины» было столь велико, что, превозмогая головную боль, я взялся за чтение рукописей. Разумеется, о коллективном сборнике думал лишь постольку поскольку (главным было — устремление к недостижимому).

Начал с папки приключений. Когда-то надеялся, что это чтение будет мне в удовольствие; ничуть не бывало. Главные герои произведений: поэтические личности, философы, журналисты и так далее — были, как на подбор, на одно лицо. Просто диву давался: ничего себе — творческая интеллигенция! И это было тем более странным, что, не довольствуясь своим основным трудом, все интеллигенты, как правило, имели хобби.

«...То есть любили после напряжённого умственного труда размяться, отойти от повседневщины и без оглядки отдаться строго планомерной работе: то ли острогать оглоблю, то ли отшлифовать какую-нибудь бронзовую пластину, то ли по германскому рецепту приготовить русской домашней водочки. Сидишь себе, строгаешь, и вместе с оглоблей мысли остругиваются, и все золотые, хоть бери и записывай, но — нельзя. Ефим Ефимович поэтическим чутьём улавливал, что его настоящая деловая древесина не здесь, дальше, в самом предмете, в самой оглобле-то его настоящая древесина». Или: «Ефим Ефимович нескончаемо нежно любил Аллу Леопольдовну, и она тоже любила его бескомпромиссно. Бывало, рядышком лягут на стружку и лежат, глядя в потолок сараюшки. Тепло, мягко, и запах будто в сосновом бору.

— Аллочка, — вдруг полушёпотом позовет Ефим Ефимович.

— Что, Фима? — не сразу отзовется она.

И они опять безмолвно лежат, словно бы в корабельном лесу. Не надо слов, всё уже сказано, счастливо думает Ефим Ефимович и по тому, что Аллочка отозвалась не сразу, догадывается, что и она так же думает и так же, как и он, нескончаемо счастлива».

После подобных откровений у меня комок подкатывал к горлу и перехватывало дыхание. Что скрыв-

ать, мне тоже хотелось бы лежать рядышком с Розочкой на мягких сосновых стружках.

Страницы рукописи выпадали из рук. Преодолевая головокружение, с роздыхом возвращался на свои «полати» — какой толк в том, что в литературе, как и в жизни, всё должно быть мотивированным? Нет и ещё раз нет, человек достоин счастья без всяких мотиваций. Моё воображение — это моё воображение, и никто не властен надо мной.

Вначале мы с Розочкой полежали на сосновых стружках, а после мне стали представляться радужные картины моей поездки к ней...

Я еду из города Н... прямо в Кремль. Еду в специальном вагоне, меня, как государственное достоинство, охраняют высококвалифицированные сотрудники КГБ. Разумеется, я этого не знаю — я известный поэт в свободной стране, фигурирую в школьной программе где-то сразу за Александром Трифоновичем Твардовским. На узловых станциях официанты подносят мне различные горячие блюда на якобы обычных столовских подносах. Однако до моего чуткого слуха доносятся сдавленные реплики откровенного восхищения, дескать, подносы из чистого золота самой высокой пробы. Я делаю вид, что произошла какая-то ошибка, что я здесь ни при чём, я не хочу афишировать свою известность. Но информация уже просочилась, мои читатели-почитатели с цветами и духовыми оркестрами выдают меня с головой, они ломятся в моё купе за автографами. Да-да, они узнали меня, именно я тот самый поэт Митя Слёзкин, которого они ждали здесь дни и ночи напролёт. «Это он, он!..» — раздаётся в ночи то тут, то там. Слышатся восторженные рыдания, заглушаемые стихийным скандированием:

«Виват, Россия, виват, Поэт!..»

Отпираться нет смысла, я поднимаю руки, как бы сдаваясь на милость победителя, — официанты и все люди вокруг ликуют. Я разрешаю оставить поднос со щами и дымящейся бараниной, а также серебряное ведро с шампанским. Больше мне ничего не надо, поезд трогается, в тамбуре и на перроне столпотворение: кто-то бросает цветы в раскрытое окно купе, кто-то — под ноги, кто-то от всей души желает мне счастливого пути, а кто-то суёт конфеты и плитки шоколада в мои карманы, уговаривая на денёк другой задержаться, погостить.

В общем, всё происходит на самом высшем уровне и вызывает соответствующий резонанс в средствах массовой информации. Я даже не подозреваю, что на коротких волнах в эфире идут повторяющиеся через каждый час репортажи «Свободной Европы», «Голоса Америки» и Би-би-си. Тем не менее всенародный бум вокруг моего имени начинает вызывать кое у кого наверху серьёзные опасения. В полночь ко мне появился человек в чёрной широ-

кополой шляпе и вообще во всем чёрном, который, усевшись напротив, без обиняков сообщил, что послан, чтобы пресечь вылазки заокеанских разведывательных служб.

— Им поручено, — прошептал он мне на ухо, — убрать вас и свалить это мокрое дельце на наших доверчивых сотрудников.

Внезапно крякнув, отрубил:

— Не бывать этому.

Я удовлетворённо кивнул и, перехватив его выразительный взгляд, открыл шампанское. Я, конечно, сразу догадался, что ко мне пожаловал рыцарь «плаща и кинжала», но спросил его, кто он и откуда и чем я могу быть полезен в столь поздний час в специальном вагоне.

Мой вопрос застал его врасплох, он заёрзал, чувствовалось, что рыцари в любых обстоятельствах не любят вопросов, но, как говорится, деваться было некуда. Он сказал, что его полное имя Иван Иванович Пронин, что он из «конторы глухонемых».

— Хорошо, — согласился я и, наполняя фужеры, предложил: — Давайте без церемоний, по-простому — поэт Митя, или товарищ Слёзкин.

— Проня, или товарищ майор, — в свою очередь представился он и за шампанским стал неторопливо излагать план совместных действий.

План был чрезвычайно прост: как только состав выйдет на основную магистраль Ленинград — Москва, товарищ Слёзкин немедленно прекратит всякий контакт не только с читателями-почитателями, но и вообще со всеми в вагоне, то есть резко исчезнет из поля зрения...

— Мировая общественность не поймёт исчезновения, — скромно, но с достоинством возразил я и пояснил: — Через всякие вражеские радиостанции выразит глубокое недоумение...

— С радостью выразит, но с похоронным видом, — весело согласился товарищ майор и успокоил: — Тут-то мы и возьмём их за жабры.

Его план состоял в том, чтобы, потакая противнику, всегда опережать его на полшага. Не на шаг и не на два, а именно на половину шага. Пока я буду спокойно спать в своей постели (по расписанию поезд прибывал в Москву в девять часов пятьдесят четыре минуты), он через имеющиеся у него обширные каналы огласит официальную версию исчезновения: острый приступ... почечные колики, обезболивающие инъекции не помогли, пришлось товарища Поэта срочно снять с поезда и подвергнуть стационарному лечению. Тем не менее официальные круги уверены, что означенный выше Поэт прибудет в столицу на Ленинградский вокзал в точно запланированное время.

И совершенно неожиданная, непонятная для непосвящённых просьба — встречающих посредников просим не беспокоиться.

— Народу будет — не протолкнуться! — пообещал товарищ майор и жёстко подытожил: — Тебе,

поэт Митя, дополнительная всенародная слава, а государству — незапятнанная репутация.

Кроме того, он поведал, что, опять же через имеющиеся у него обширные каналы, будут распушены самые нелепые слухи о моем исчезновении, которые послужат намеком для мировой общественности, что официальная версия насквозь лжива и её главная цель — завуалировать новое преступление КГБ, без суда и следствия укравшего любимого Поэта у своего Великого Народа.

План Прони был недурён, со всех сторон недурён, потому что на Ленинградском вокзале меня должны были встречать не только читатели-почитатели с цветами и духовыми оркестрами, но и представители Православной Церкви, представители самого Патриарха Московского и всея Руси, с которыми у меня было условлено, что перед тем, как я поеду в Кремлевский дворец, обязательно побываю в Московской духовной семинарии, прежде всего там почитаю свои стихи. Кстати, о представителях Патриарха и о моей встрече с другими служителями Церкви товарищ майор ничего не знал, да и не мог знать — тут начиналась самая приятная, самая соблазнительная часть воображаемой картины, ради которой, по существу, и фантазировалась поездка в Москву.

## Глава 18

Поезд замедлил ход, через пути то и дело перебегают толпы старшеклассников и студентов с цветами и гирляндами разноцветных шаров. Я прислушиваюсь к праздничному гулу на улице, но музыка вагонных динамиков, включённых на полную мощность, заглушает его.

Я открываю окно напротив купе, и приветствия в мою честь буквально обрушиваются на наш медленно продвигающийся состав. Смущённо улыбаясь, машу рукой и по характерному поведению восторженных читателей (разом вскидывается лес рук, разом в крике открываются рты и потом разом же закрываются) догадываюсь, что они скандируют мое имя. Невольно оглядываюсь, чтобы как-то приглушить пресловутые динамики, и тут ко мне подбегает товарищ майор — Проня?! Потрясающе!.. Поначалу не сразу узнаю его — он в военном мундире, на штанах широкие синие лампасы, а на погонах по одной, но соответствующей звездочке.

— Товарищ Поэт! — растерянно говорит он на ухо, потому что музыка сверху заглушает и его. — Товарищ Поэт!..

(Очевидно, Митей или товарищем Слёзкиным он не решился называть после того, как воочию увидел ликование Великого Народа...)

— Товарищ Поэт! — в третий раз повторил он. — Вас приветствуют словно Петра Первого или даже Вождя самых широких масс!

В голосе его сквозили восторг и ужас одновременно, чувствовалось, что он, пользуясь своими ка-

налами оповещения, хотя и самолично подготавливал встречу, всё же не ожидал, что она выльется в столь грандиозный апофеоз.

— Да полноте, батенька, я всего лишь поэт Митя, — скромно сказал я и как бы между прочим напомнил, что мы договаривались без церемоний. — Или, товарищ генерал, в наши отношения следует внести поправку?

— Никаких поправок! — взмолился рыцарь «плаща и кинжала». — Я для вас был и остаюсь незабвенным Проней, в лучшем случае — товарищем майором из «конторы глухонемых».

В ответ я ничего не сказал, а только пристально посмотрел на его широкие лампасы и одними только изумленно вскинутыми бровями спросил: а как же понимать, батенька, ваш генеральский мундир?

— А-а, — простонал Проня, махнув рукой. — Козырнуть захотелось. — И тут же повинулся: — На днях присвоили... Только что, как вчера, обнову справил.

— Ах, вот как? Понимаю, всеми фибрами понимаю, — удовлетворённо сказал я и вернул брови на место, потому что негоже перегибать палку, тем более что действительно понимаю военных людей, обязанных по долгу службы уважать прежде всего погоны, а потом уже все остальное.

А генерал между тем смущенно продолжал:

— Я ить и думать не думал, что вы, в сущности, простой Митя, а гляди-кось, в мировой литературе уже давно в Вождях, в царях-императорах ходите.

Пожав плечами, я развёл руки, мол, виноват, но что сделаешь, если Богом отпущен талант сверх всякой меры?

— Да уж, — согласился генерал и предложил зайти в купе, чтобы согласовать дальнейшие совместные действия.

Пока он объяснял, что через пару минут нам надлежит выйти в тамбур (двери с обеих сторон уже открыты настезь, а вагонная музыка в свой срок будет выключена), я заметил через просвет в шторах сиреневое пятнышко на фоне чёрных риз. Сомнений быть не могло, это была она — Розочка! Доведись, я узнал бы её и через тысячу лет. Мы с генералом вышли в тамбур. Музыка прекратилась.

— Всё идёт по плану! — предусмотрительно крикнул он, потому что с нашим появлением в дверях многотысячная толпа встречающих пришла в такое неистовство, что приветствия в мою честь слились в один сплошной рёв.

Десятки кино- и телекамер, пульсирующий свет непрекращающихся фотовспышек, гроздя тянувшихся со всех сторон микрофонов вдруг напомнили о празднике в моем детстве.

— Миру — мир! — взволнованно вырвалось из моей груди.

— Мир — миру! — не менее взволнованно прорыдал генерал.

О, что тут началось! Людское море в едином порыве всколыхнулось, и от тупика до тупика, как бы волнами по стадиону, покатилося уже известное триумфальное скандирование.

Мы с Проней, не скрывая слез радости и умиления, крепко обнялись и специально для прессы довольно долго стояли в мужских объятиях. Мы ни на секунду не забывали о происках иностранных спецслужб и понимали, что мое явление народу, да ещё в обнимку с генералом КГБ, сейчас же сведёт на нет все их коварные замыслы.

То же самое мы проделали и в дверях напротив, то есть выходящих на другую сторону состава. Кстати, медленно продвигаясь по запруженному людьми запасному пути, наш вагон уже настолько приблизился к сиреневому пятнышку, что я даже боковым зрением свободно улавливал грустное выражение лица Розочки. (Она беседовала с Владыкой. О том, что она называла его именно Владыкой, я догадался по его палице и епитрахили, выглядывающим из-под фелони.)

«Надо же, — подумал я с гордостью, — как быстро Розочка продвинулась на пути духовного возрождения. Уже на равных беседует с самим епископом!»

Не знаю, каким таким чувством, шестым, восьмым или двадцать восьмым, а скорее всего, чутьём родственника, я молниеносно не только угадал, что они говорят обо мне, но и услышал, явственно услышал всю их обстоятельную беседу (хотя, безусловно, понимал, что в таком рёве толпы это практически невозможно). Однако?!

— Дорогой Владыка, я всё ещё в сомнении, неужели к нам едет тот самый поэт Митя Слёзкин, о котором я вам подробно рассказывала, исповедуясь перед причастием? Который недавно опубликовал стихотворение, посвященное мне, и... и пострадал за него — пал в глазах гёкачепистской и демократической общественности?

— Да, раба Божья, будущая мать Розария Российской, к нам едет тот самый поэт Слёзкин. А в чём дело, что вас гнетёт и гложет? Поведайте своему духовнику, облегчите свою кристально чистую душу.

— Дело в том, дорогой Владыка, что именно этот поэт Митя Слёзкин и есть тот самый наречённый муж, от которого я ушла, чтобы стать матерью Розарией Российской.

— Господь с вами, Господь с вами, не богохульствуйте, — богобоязненно предостерег иерарх и так отвлеченно посмотрел на Розочку, что сразу почувствовалось, что попутно с предостережением он произносит какую-то внутреннюю молитву о помиловании тех, кто не ведает, что творит.

— Я не богохульствую, а говорю то, что есть, — мгновенно парировала Розочка и вдруг покраснела, вспомнив, что ей, как будущей матери Розарии, любая резкость не к лицу, напротив, ей надлежит быть мягкой, благоразумной.

— Простите, Владыка, но я и предположить не могла, что мой Митя, тюха-матюха, не от мира сего,

может хоть в чем-то преуспеть (она вполне могла так сказать, ей всегда доставляло удовольствие любой своей просчёт вымещать на мне), тем более за столь короткий срок выбиться в поэты, чтобы уже и фигурировать в школьной программе за Александром Твардовским. Непостижимо!

— И все же это так, — ласково сказал архиерей. — Постарайтесь посмотреть вокруг непредвзято, а в особенности вон туда.

Его красивая рука, облачённая в поруч, как-то очень естественно вынырнула из-под ризы, и, не акцентируя, одним каким-то мановением он указал Розочке на нас с Проней, повторно стоящих в обнимку.

— Митя! — по обыкновению уже прямо в ухо рывкнул мне генерал и с напряжением, прорываясь сквозь гул людского моря, весело прокричал: — Обрати внимание на красавицу в сиреневой кофточке, что беседует с очень важным попом, — она явно неравнодушна к тебе... будем завидовать.

Он, улыбаясь, подмигнул мне, а я шутя дал ему хорошую затрещину, загодя зная, как радостно удивится Розочка тому, что я уже и с генералами КГБ на дружеской ноге и даже более того, своего рода для них старший брат, не стесняющийся и при свете юпитеров отвешивать им братские оплеухи.

Увидев, что Розочка весело засмеялась, священник осторожно спросил:

— А что теперь скажешь, дочь моя?

— Да никакая я вам не дочь и не была дочерью! — вдруг взбрыкнула Розочка. — Я всегда хотела быть исключительно матерью Розарией Российской, и только!.. Так что прошу вас, святой отец, поосторожней... и никогда не забывайте об этом.

Лицо её знакомо пошло красными пятнами, но она совладала с собой и, как бы подытоживая, отчеканила по слогам:

— Ни-ко-гда!

Необъяснимый и непонятный гнев Розочки был для меня объяснимым и понятным — она узнала меня и, воочию увидев, как быстро и далеко я пошел... рассердилась в первую очередь на себя, на свою близорукость, что недооценила меня. Считала тьюх-матюхой, не от мира сего считала, а я на поверку вон каков оказался — даю затрещины самим генералам КГБ. А священник? Просто под горячую руку попался...

Я замер — Господи, помоги Розочке, объясни епископу так же, как объяснил мне, высшую справедливость её поведения! И тут произошло чудо, так часто случающееся среди православных, что в нём даже усматривают некоторые миряне утрату боевительности нашей Церкви. Я говорю о высшей, страдательной любви, дарованной Богом, ради которой, когда она открывается православному, он не замечает ни притеснений, ни унижений, ни грязной хулы в свой адрес. Помните, в «Братях Карамазовых» отец Зосима на колени упал перед Дмитрием, перед его

великими страданиями? Вот точно так же, как бы ни с того ни с сего, святой отец вдруг бухнулся на колени перед Розочкой, чем привёл её в ужасное смущение: люди кругом, что они подумают?! Не помня себя, кинулась она к священнику, подняла с колен и в смятении сама упала ему на грудь:

— Владыка, простите меня, Христа ради! Я всегда любила, а сейчас пуще прежнего люблю своего ненаглядного Митю, свой лазоревый цветочек, суженный мне самим Господом Богом.

Она задохнулась в безутешных слезах, и я, лежащий на кровати с закинутыми за голову руками, почти физически почувствовал, что и в моих глазах закипают слезы.

— Простите, простите, Владыка, сумасбродную мать Розарию Российскую, что она не захотела быть вашей дочерью! Она любила и вечно будет любить известнейшего поэта современности Митю Слёзкина, Петра Первого советской поэзии, но помогите, помогите ей, развеите наконец последние сомнения — как так, чтобы в столь короткий срок?!

— О, раба Божья, будущая мать Розария Российская, вы не хуже моего знаете, что такое сосуд избранный. — Святой отец с величавой медлительностью поднял глаза к небу и как о факте, хотя и удивительном, но давно проверенном, сообщил: — Тс-с, снизошло на Митю.

— Я так и знала! — обрадовалась Розочка. — Сам бы он не смог..

И опять святой отец ласково предостерег:

— Не спеши в суждениях, «ибо, кто имеет, тому будет дано, и будет у него изобилие; а кто не имеет, у того будет взято и то, что имеет...».

Поезд остановился.

— Отличная нервная система, будем завидовать, — многозначительно сказал Проня и, наклонившись ко мне, прошептал: — Поэт-Летописец, задание выполнено. От имени застрельщиков движения «белых носков» вам тайно присваивается самая высокая правительственная награда, которая будет вручена в свой срок.

— Служу нашей Поэзии, — в тон ему прошептал я, и он, приобняв меня, отстранился и по-военному чётко отдал честь.

«Ба-а, да это же усатый молодой человек из ДВГ, в котором мне привиделся переодетый морской офицер», — вдруг вспомнил я.

— Товарищ Поэт, моя миссия закончена, вы живы, иностранные спецслужбы потерпели фиаско, до свидания, до скорой встречи в Кремле.

Во вздрагивающем свете непрекращающихся фотовспышек он стал спускаться с вагонной площадки.

— Проня, я узнал тебя! — радостно крикнул ему вдогонку, но он не услышал — дружеские руки схватили его, и он поплыл над ликующей толпой.

Скандирования, сопровождавшие Проню, «виват Россия, виват Поэт!», с каждой секундой всё бо-

лее и более отдалялись и наконец исчезли в лавине людей, бегущих навстречу поезду.

Я стоял потрясённый и подавленный... Потоки взбудораженных людей в поисках своего кумира пронеслись мимо меня с утробным рёвом. Некоторые из них, задрвав голову, нетерпеливо спрашивали: «Где он, где?!»

Боже мой, как глупы люди, сотворившие себе кумира! Я испытывал какое-то мстительное облегчение, что мои читатели-почитатели обознались, спутали меня с генералом КГБ. Ни с того ни с сего вдруг несколько раз призывно взмахнув рукой, я закричал им благим матом, указывая в хвост состава:

— Я видел его, там он, там!..

Потом опомнился, неожиданно обнаружив, что у меня обострилось не только внешнее и внутреннее зрение, но и слух.

— О, Владыка, я не о том... то есть я согласна, что снизошло на Митю, что ему помогает Всевышний, но тогда зачем я ему теперь?.. Я думала, что без меня он погибнет, может, умрёт даже, но, раз Бог его спас, имею ли я моральное право возвращаться к нему? И при этом, как говорится, походя жертвовать своей высокой целью — по сути, матерью Розарией Российской жертвовать?! Вот в чём вопрос, дорогой Владыка.

— Да-а, вопрос каверзный. В былые времена за такие вопросы предавали анафеме, — строго ответил священник.

Скажу откровенно, я искренне посожалел, что ушли былые времена. Оглянитесь, сколько каверзных всяких людишек объявилось среди простого люда, да и среди самих служителей Церкви! Напялят рясы, возьмут в руки вместо хоругви транспаранты и шествуют по Верховным Советам, спускам да взгоркам. Чады народные, возвысились — были избранниками божьими, стали — городского и сельского населения. Анафеме их всех, анафеме, как в былые достопамятные времена. А ещё лучше, как во времена Христа, всенародно побить камнями, чтобы неповадно было мутить честной православный люд.

Я и думать не думал, что моя мысленная филиппика в защиту былых времён будет не только услышана иерархом и Розочкой, но и пагубно скажется на их беседе. Но именно так и произошло.

— Дорогая Индира Ганди! — точно известный генсек, чревом проवेशал священник. — Вы не только индийская, но и наша мать.

«При чём тут это, не понимаю?!» — ужаснулся я.

Розочка вспыхнула, глаза сверкнули, она все поняла, но совладала с собой, ехидствуя, заметила:

— Я — госпожа Тэтчер, Тэтчер, включился, га-а?

Священник изумлённо поднял глаза к небу и трижды широко и обстоятельно перекрестился. Он не об этом и не так хотел говорить, его целью было склонить Розочку вернуться домой. Он хотел сказать, что Розочке всегда нужно быть рядом с таким

замечательным человеком, как Митя Слёзкин, и вдруг...

Я остолбенел, застыл как памятник. А мне надо было не застывать, а как-то исхитриться и всё же подать священнику сигнал, чтобы помолчал или помедлил с ответом, но я растерялся, застыл... И тогда со свойственной святым отцам кротостью и в то же время настойчивостью, которая камень точит, он сказал:

— Свобода воли!.. Дорогая Индира Тэтчер, железная леди, мать Розария, твою так!

Я как стоял, так и рухнул в людской поток.

— Где он, где?!

«Затоптали», — подумалось как бы в ответ, и я, как утопающий хватается за соломинку, ухватился за эту второстепенную случайную мысль.

И сразу толпа остановилась, замерла — я увидел Розочку. Горестно прижимая руки к груди и пошатываясь, она невидяще шла в мою сторону.

— Это всё она... она, мать Розария Российская, виновата, — угрожающе слышалось со всех сторон. — Это она, она погубила нашего любимого Поэта Митю!..

Вновь мелькнула косвенная мысль, как бы между прочим мелькнула — а ведь и её, Розочку, сейчас затопчут! Лиха беда — начало...

В страхе очнулся... Что за вздор, что за белиберда?! Вот что такое рукописи из редакционных залежей. Вот что такое счастье без всяких мотиваций. Как бы там ни было, а нескончаемой любви Ефима Ефимовича и Аллы Леопольдовны у меня с Розочкой не получилось.

## Глава 19

Моя соседка, которая забрала ружье Двуносого, была одинокой матерью, работала швей в мастерской индпошива. Когда мы жили с Розочкой, я её практически не замечал. Знал, что у неё есть сын-дошкольник по имени Артур, которого она водит в круглосуточный садик, — вот почти и всё. Кстати, имя сына запомнилось потому, что однажды я дал ему шоколадную конфету и, как водится, поинтересовался, как его зовут. (Знакомство происходило в общественной кухне.) Она подскочила, разъярённо вырвала конфету и бросила в помойное ведро.

— Ему нельзя давать шоколад! — гневно сказала она и, взяв ребенка на руки, резко поправила, что он не Артёр, а Артур.

Зимой и летом в расстегнутой кофте шахматного цвета поверх простенького василькового платья, она не располагала к знакомству. Розочка говорила, что её муж Гиви (мы его не застали) возил из Тбилиси разливное вино и якобы обсчитался всего на пару железнодорожных цистерн, но его все равно посадили. Накануне ареста он всю ночь веселился с друзьями, а потом обошел на этаже все комнаты и в каж-

дой со словами «Гиви презентует» оставил по бутылке «Ркацителю».

В общем, мы взаимно избегали знакомства, и я даже имени её не знал. А тут после «ружья» и после того, как наотрез отказался от термосочков Алины Спиридоновны, она вдруг сама заявила вместе с участковым терапевтом, причём вела себя так, словно я был по меньшей мере её родственником. Именно она сдёрнула с меня одеяло и, подталкивая в спину, поставила перед врачом-старикашкой, который, увидев меня, не скрывал восхищения и так аппетитно цокал языком, словно мысленно уже приготовил из меня редкий деликатес. Он и общался только с нею: приглашал прислушаться к звукам, которые он извлекал, обстукивая мои рёбра; объяснял, почему с медицинской точки зрения выражение «тонкий и звонкий» является оптимальным. Он настолько обрадован был «изумительным случаем» (его слова), что напоследок не отказал себе в удовольствии «посчитать мне позвонки», то есть несколько раз сверху вниз и обратно провёл по ним согнутым средним пальцем и пообещал, что в следующий раз непременно покажет меня своей практикантке, которая, безусловно, будет в восторге от хрестоматийного дистрофика.

Я тепло поблагодарил его, но никаких рецептов он не оставил. Сказал соседке, что надо начинать с рыбьего жира и манной каши и постепенно увеличивать рацион до нормальных пределов, вот и все рецепты.

Врач-старикашка больше так и не появился. Зато соседка приходила каждый день, точнее, каждый вечер. Она приносила кастрюлю манной каши и чайник кипятка, которым при мне заваривала чай в поллитровой банке. Потом садилась на табуретку и рассказывала о новостях, потому что я уговорил её не делать уборку и вообще не дотрагиваться до рукописей, разложенных на полу.

От неё я узнал, что шайку Двуносого вначале хотели отправить на лечение в ЛТП, а после путча безо всяких разговоров уволили с завода, и дело с концом.

— Но главное не это, — сообщила она шёпотом. — Они теперь с раннего утра и до позднего вечера торгуют пивом возле проходной телевизионного. Обставятся ящиками и дерут с людей втридорога. И что самое странное — сами не пьют, их несколько раз забирали в милицию, а потом с извинениями отпускали. Двуносый хвастался, что против них нет никаких улик, они — пиздесмены.

Соседка окунула лицо в ладони, не то от стыда, не то от смеха, потом совладала с собой, продолжила:

— Грозятся, что пустят завод по миру, отомстят начальникам за все их злодеяния... Теперь разъезжают на трехколесном мотороллере, сблатовали к себе слесаря-сантехника. Он у них заготовителем, в деревнях скупает по дешевке вяленую тараньку, а потом опять же втридорога они продают её в «Свинячьей луже».

Она засмеялась и пояснила, что такое название они вывесили над своей торговой точкой.

— Недавно Двуносый козырял, что его приглашал к себе сам генеральный директор телевизионного завода и якобы пообещал бесплатно построить киоск, если они со своим пивом удалятся от проходной и поставят свою точку на площади Победы, как раз напротив областной администрации. Двуносый утверждает, что дал согласие, он навряд ли как заведующий «Свинячьей луже».

Соседка опять засмеялась и нарочно для меня как литератора подивилась, мол, почему глупейшее название, а у рабочего класса пользуется повышенным одобрительным вниманием? С утра и до позднего вечера толпятся, гомонят довольные, что пьют они именно в «Свинячьей луже».

— Нас приучили к крайностям. Нельзя даже к добру гнать палкой. Это своего рода бунт против «палочного добра», так сказать, насильного счастья.

— Вишь, Митя, какой ты умный, а сам против чего бунтуешь? — весело уколола соседка, окинув красноречивым взглядом бросающийся в глаза беспорядок.

Бывали новости и не столь весёлые: что в магазинах ничего нет, прилавки пусты, а чуть появится что-нибудь, так тут же и сметается подчистую.

— Откуда только деньги у людей, всё дорожает, как на дрожжах. Уже поговаривают, что с Нового года будут отпущены цены: на молоко, хлеб и вообще на всё. Ровно на пятьсот дней отправят всю страну на больничный и под видом реформ устроят ей шокотерапию, чтобы было всё у нас, как в Польше: товаров навалом, а денег — ни у кого...

Соседка побывала на рынке — там этих поляков и прибалтов «хоть пруд пруди», продают всякий дефицит: трикотаж, парфюмерию, обувь... и на каждой машине объявление — покупаю телевизоры, медь, бронзу в неограниченных количествах. И адрес указывается... уже распоряжаются как у себя дома.

Она вздыхала, но тут же поднимала настроение тем, что такую большую страну, как наша, всё же нельзя растащить за пятьсот дней.

Я привык к беседам с соседкой. Уже её васильковое платье стало казаться мне не таким и простеньким. В общем, после разговоров с нею хотя и не легче делалось... но думалось уже не только о Розочке.

Когда я пошёл на поправку, соседка принесла мне лишнее байковое одеяло, которым тут же занавесила окно.

— Пока по-настоящему дадут тепло, успеешь схватить воспаление легких, — сказала она и неожиданно расплакалась.

Оказывается, уже дважды за квартал повышали предоплату за детсадик и её Артура отчислили, потому что директриса их швейной мастерской отказалась перечислять дотационные деньги, а её вовремя не предупредила.

— Она мстит мне, что при обсуждении устава — мы теперь будем акционерным обществом открытого типа — я настояла, чтобы учитывался стаж работы непосредственно в пошивочной, а она у нас всего третий год.

Соседка упала ко мне на кровать и разрыдалась. С первого дня, как только она пришла с кашей и чаем, я думал, как отблагодарить её. В общем, мне представилась возможность помочь ей деньгами.

Вначале соседка отнекивалась, а потом взяла. Сказала, что ей за глаза хватит пятидесяти рублей. Я отсчитал триста, попросил отправить двести рублей моей маме на Алтай — пусть хоть сена купит для своих коз. Соседка пообещала отправить, даже адрес записала своей рукой, чтобы не напутать. И весь вечер была весёлой и довольной-таки игривой, впрочем, каким бывал и я, когда внезапно удавалось разжиться деньгами.

— Ты, Митя, точно такой же простодыр, как и мой Гиви. И деньги у тебя такие же замусоленные, словно из винного ларька.

Зачем она так сказала?! Я насторожился. Но она ещё всякое говорила, смеялась и сравнивала меня со своим Гиви так, что даже было неприятно... Особенно остро резануло, когда сказала, что её Гиви — не настоящий муж и его никто и никогда не арестовывал. Просто он уехал к своей семье в Грузию, потому что она прогнала его.

И сама она по специальности не швея, а преподаватель английского языка, она даже побывала в Манчестере на стажировке, но потом из-за этого дурака Гиви пришлось переквалифицироваться.

Её Манчестер прямо-таки добил меня, до того стало не по себе, что даже вздохнул с облегчением, когда она ушла. Она ушла, но ещё долго оставался осадок, будто она покушалась на Розочку. В тот вечер из-за этого кашу не стал есть, попил немного чаю и лёг спать. А на следующий день с утра нажарил себе гренок, чтобы, когда она принесёт ужин, сослаться, что я уже поел.

Но вечером соседка не пришла. Мне сказали, что вместе с сыном она уехала в отпуск, в деревню к матери. И слава богу, подумал я с облегчением и опять отдался мечтам о Розочке, словно ими мог если не вернуть её, то хотя бы искупить свою вину, которую подспудно чувствовал перед нею.

## Глава 20

— Эй, сюда! Скорее сюда! Тут человека какого-то затоптали!.. Какая жалость, такой молодой, такой перспективный... А какая посмертная маска?! Будто у Пушкина, или Наполеона, или у этого... из купринского «Гранатового браслета» — Г. С. Ж... ну да, господина Желткова... Эх, жить бы касатику, а вишь — не судьба...

— Ладно вам, расквохтались: судьба — не судьба... Да потеснитесь вы наконец, дайте-то горемыку вынуть из-под ног!

Это уже слесарь-сантехник откуда-то взялся, бесцеремонно перекинул меня через плечо...

Я приподнялся на кровати, резко тряхнул головой, чтобы сбить, замутнить видение, мне хотелось мечтать о чём-нибудь другом — куда там! Откуда ни возьмись, тройка «разведённых» объявилась, двое с носилками, а Двуносый с ружьём, весь из себя деловой, отдаёт распоряжения, торопится, но наскакивает исключительно на молодых женщин: пардон, мадам!.. Пардон... При этом оглядывается и успевает подготовить своих сотоварищей, что все в ажуре, четвёртым будет нести мои бранные останки их заготовитель, Тутатхамон.

Здесь же в толпе и мои литобъединенцы каким-то образом оказались. Особую активность проявлял Маяковский:

— Трагедия, трагедия, достойная английского классика!

Почему-то в разных местах возникал его заседающий бас. И вдруг все смолкло — все увидели изумительной красоты девушку в сиреневой кофточке и джинсах-«бананах». Внезапный душераздирающий вопль пронзил перепонки:

— Не виновата-я я-а, не виноватая-я-а!..

«Однако было... было уже в кино!..» — вскинулось все во мне, но ещё прежде открыл глаза — тьма, ни огонька, ни пятнышка... Где я? Уж не рехнулся ли?!

В испуге сел на кровати и похолодел от ужаса. Мне показалось, что я сижу на каких-то деревянных носилках. Невольно выпростал руку и тут только натолкнулся на стену, на скользкий холодок отставших обоев, которые вздохнули, словно ожили. На душе отлегло — это шелестящее дыхание стен ни с чем не спутаешь...

Мои доброхоты во главе с Двуносым несогласованно резко рванули носилки, особенно сантехник перестарался, благо я успел снизу ухватиться за брус, а то бы точно выкинули на асфальт.

— Тише, уроним, Тутатхамонище! — недовольно прошипел Двуносый и ласково, словно я мог слышать его, проворковал: — А руки-то, Митя, надо убрать, нечего им болтаться, как в проруби.

Они подозвали старосту литкружка (я узнал его по характерному постукиванию палкой), и он, предварительно ощупав меня, уложил мои руки, как укладывают покойнику.

— В рабочих ботинках — нехорошо... Надо было бы в белых тапочках или, на крайний случай, в белых кедах, — рассудительно заметил он и сообщил, что днесь видел в новом ЦУМе весьма прочные кеды, изнутри прошитые капроновой ниткой, и всего по семь рублей за пару. — Да, по семь, — тяжело вздохнув, повторил он.

Доброхоты отогнали его, Двуносый для острастки даже похлопал по прикладу ружья. Староста огрызнулся, но от носилок отбежал.



— Мелет какую-то чушь и ещё огрызается, как будто Митя мог знать заранее, что его затопчут! — возмутился Двуносый.

Я согласился с ним. Мне, как никому другому, было известно, почему староста так тщательно ощупывал меня, точнее, мои карманы, почему повторил о семи рублях и почему так тяжело вздохнул. Семь рублей — это сумма оброка за участие в коллективном сборнике, которую, кстати, он не платил. Что за человек? Я, можно сказать, уже на небесах, а он?! Ходил у меня в графах, в Львах Николаевичах ходил, а на поверку каким мелочным оказался?! Мне захотелось плюнуть на него с высоты носилок, тем более что на этот раз их довольно слаженно подняли и утвердили на уровне плеч.

Вдруг осенило: староста прав, прав! Может, я в Москву приехал, чтобы обещанный сборник издать?! Стало быть, и деньги должен был захватить. Наверное, он подумал, что меня обобрали... Потому и вздохнул так тяжело. Небось вздохнёшь — читатели-почитатели воспользовались, обобрали своего поэта как липку! Да это уже не читатели, а мародеры какие-то! Не все, конечно, один завёлся, а подозрение на всех.

Мне стало жаль, по-человечески жаль старосту. Он мог подумать что угодно и о ком угодно, ведь он ничего не знал и не знает о Розочке. Утешить бы беднягу, поддержать, сказать: не горюй, Лев Николаевич, и на нашей ясной поляне будет праздник! Но в своём трагическом положении я не мог даже пошевелиться. Впрочем, в следующую секунду я уже сам нуждался в утешении.

— Не виновата-я я-а, не виновата-я-а!

Я почувствовал ледящий, прорастающий сквозь кожу страх. Резко дёрнулся на кровати, причём довольно чувствительно ударился головой о спинку. И кстати, и поделом!.. Мной овладело чувство обречённости — там, в моих, пусть глупых, фантазиях, есть хоть какая-то жизнь, здесь же, в четырёх стенах, нет ничего, кроме заброшенности, мрака и ненужности никому.

Я сложил руки, как если бы лёг в гроб, и до того мне уютно стало, отдохновенно, что, закрыв глаза, тут же вообразил, что лежу в открытом гробу. Меня, как и полагается, несут ногами вперед через запруженную людьми привокзальную площадь. Я вижу по обе стороны гроба море обнаженных голов и как бы в удивлении мысленно констатирую: головы, головы... как много скорбных голов на Руси!

Приспущены знамена. Мерный шаркающий звук толпы, траурно продвигающейся по площади. И вдруг — говор, совсем рядом, слышны эпитеты неуместного телячьего восторга.

— Чего там... вопль был что надо, как в кино, а то и хлёстче, всем воплям вопль! У меня аж мурашки по спине побежали!.. Если бы Митя слышал — порадовался бы от души, он любил её, стерву, до умопомрачения!

Я улыбнулся в гробу. Мои доброхоты обсуждали горестное известие, заставшее Розочку врасплох.

— А я могу с кем хошь поспорить, что она не от горя взвопила. Допекли её — всё она, она!.. Вот и сорвалась от нервов.

Слесарь-сантехник заглянул в гроб, намеревался по лицу разгадать мои потаённые мысли, но я лежал бесчувственный и отвлечённый, то есть, хотя и находился здесь, на самом деле меня не было — труп.

Слесарь-сантехник, дурак, приревновал к Алине Спиридоновне, но его суждение и вообще весь ход бесхитростного разговора вокруг гроба настраивали на философский лад.

Простые люди, они как дети. По своей шалости что-нибудь натворят, набедокурят (ведь не Розочка затоптала меня), а потом сваливают на кого ни попадя. Так и здесь... Они даже обрадовались, что Розочка подвернулась: стройная, смелая, по-женски обаятельная. Именно такая, по их мнению, и могла погубить любимого Поэта.

А Розочка в ту скорбную минуту, когда меня бездыханного вытащили из-под ног, была воистину хороша: горестно заломленные руки, красиво прижатые к высокой груди; блестящие смоляные локоны, слегка распушенные от слёз... «Семейные люди, / Оставьте заботы, / Красивая женщина, / Слёзы утри...» — когда-то я писал в стихотворении «Цветы».

Под гробом опять заспорили — куда нести телá? Пора уже всем живым людям выстраиваться в похоронную процессию... В конце концов, нельзя же прямо здесь, на привокзальной площади?!

«Какие «тела»? Что за чушь?» — подумал я.

— А по мне, хоть куда, и хоть где, и хоть кого, — весело сказал слесарь-сантехник и, внезапно натолкнувшись на стену подозрительности, преувеличенно подвинулся: — Ну и лёгкий же этот Митя — правда, что поэт!

— Ишь, ухарь нашелся! — уколол Двуносый.

— Мы не против, чтобы героя... — услышал я робкий, по-интеллигентски сомневающийся голос редактора. — Но прошла информация, что поэт Слёзкин — гэкачепистский лазутчик, он — контра!

— Это к делу не относится, — решительно возразил Двуносый и со свойственной ему бесцеремонностью сказал редактору, чтобы подменил его у гроба.

Самолечно определив себя в главные распорядители, самодовольно прошёлся, не без умысла подергивая ружье, и, конкретно ни на кого не глядя, жёстко спросил:

— У Мити есть какие-нибудь награды, кто-нибудь знает?..

Внутри у меня всё так и похолодело. Я не хотел быть похороненным подобно герою революции или Гражданской войны, и то и другое противоречило моим убеждениям, и то и другое я считал позором.

— У него есть самая высокая правительственная награда, но совершенно секретная, — по-военному чётко, с металлическими нотками в голосе отчеканил неизвестно откуда взявшийся Проня и вытащил из-под полы генеральского мундира тёмно-бордовую бархатную подушечку, на которой блестела Золотая Звезда Героя СССР.

«Всё кончено!» — подумалось с безнадёжностью, и вдруг Проня сказал, что он с подушечкой возглавит процессию — надо идти на Красную площадь, к Мавзолею, ему известно, что там есть ещё свободные места, но надо хоронить сегодня, сейчас.

«Почти как в анекдоте», — ухмыльнулся я.

Двуносый, очевидно, не на шутку перепугался генеральских лампасов, как-то уж очень подобострастно согласился с Проней и бочком, бочком попытался затеряться в толпе. Затеряться не удалось (всё-таки человек с ружьём), толпа мягко прогнута, оставила его на пустом месте. Он затравленно заозирался, ему напомнили о прямых обязанностях распорядителя похорон, посоветовали поинтересоваться, к кому конкретно и зачем Митя приехал в Москву.

Мне даже видеть не нужно было, чтобы догадаться, что это по наущению старосты его помощник посоветовал. И точно, староста тут же изложил свою версию моего появления в Москве. Дело оставалось за немногим — выяснить адрес издательства.

«Ну началось, — подумал я, — хотя воспользоваться моими бренными останками, чтобы пристроить коллективный сборник в лучшем писательском издательстве...» Я представил, как многотысячная толпа, тяжело ворочаясь, заполнила улицу, бывшую Воровского, влилась во двор издательства и остановилась напротив парадных... О Господи, сколько здесь похоронено рукописей, а вместе с ними и писательских судеб! Так что вроде по адресу ногами вперед приехали, опять ухмыльнулся я. Эй, издатели, встречайте известного автора из глубинки!..

Двуносый вновь почувствовал себя главным распорядителем, поддёрнув ружьё на плече, приказал:

— Давайте, давайте, дедки, по холодку!.. Никаких издательств, мы пойдем другим путем: на Красную площадь, к Мавзолею — там и положим их рядом.

Кого он собрался класть?.. Уж не меня ли — рядом с Вождём мирового пролетариата?! Но я крещёный — это же нонсенс!

Я приподнялся и сел в гробу, мне теперь было наплевать, что подумают читатели-почитатели, я утратил ощущение реальности. И вдруг внезапный удар по затылку тут же привёл меня в чувство. То есть я сам из сидячего положения неудачно резко упал на спину и ударился о столешницу, заменявшую мне панцирную сетку. А упал потому, что со мною на плечах священников точно в таком же гробу, как у меня, и точно так же, как и я, в положении «сидя» плыла Розочка.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### Глава 21

Все эти вокзалы, духовые оркестры, толпы читателей-почитателей с цветами и разноцветными воздушными шарами, все эти «разведённые» и литобъединенцы с Двуносым и генералом КГБ в придачу были в моих фантазиях второстепенными, своего рода декорацией, чтобы посильнее пронять Розочку, чтобы она пожалела об уходе... Но, совершенно неожиданно для меня, второстепенные, косвенные люди настолько плотно овладевали ситуацией, что мы с Розочкой почти всегда превращались в их руках в обыкновенную разменную монету. Так, наверное, и Господь Бог придумывал зло не более как вкусовую добавку к добру, а на деле совсем другое получилось, зло превратилось в самостоятельную довлеющую единицу. Словом, косвенные люди настолько несправедливо и кощунственно помыкали нами, что я перестал предаваться фантазиям, — никогда и ни в каком виде я не хотел допускать насилия над Розочкой, ни-ко-гда!

Как сейчас помню, я сорвал одеяло, которым соседка занавесила окно, и сразу очутился совсем в другом мире. Все вокруг было бело и празднично: снег лежал на тротуарах, крышах гаражей и даже на сливах подоконников. В утреннем пламени солнца, отражённом в окнах, деревья, покрытые инеем, казались розовыми. Меня охватила необъяснимая неуёмная радость, восторг, я чувствовал себя так, словно действительно вот только что ожил и вылез из гроба.

Я решил сходить на улицу, прогуляться, ведь из-за своей болезни не только потерял счёт дням, но и не видел ничего, кроме четырёх стен. К своему стыду, вдруг обнаружил, что совершенно не подготовлен к зиме. У меня не было ни пальто, ни плаща, ни даже какой-нибудь мало-мальской курточки. И тогда с помощью шила, капроновых ниток и бельёвого шнура я приготовил из байкового одеяла уже известную крылатку — что-то наподобие офицерской плащ-палатки, но с двойным верхом на плечах.

В первый раз я появился в ней на следующий день. Я подозревал, что мое появление может вызвать нежелательные толки, а потому тщательно выбрился и даже вылил на голову остатки «Шипра». Я надеялся, что умные люди сделают вид, будто ничего не заметили, а глупые ничего не поймут... Кроме того, я потому так смело вышел, что у меня ещё были деньги и я думал: крылатка — одежда временная, только чтобы дойти до ЦУМа.

Я ошибся, ошибся по всем статьям. Встретили меня недружелюбно, и где?! В родном общежитии, в собственных пенатах! Когда я заглянул на кухню, чтобы узнать, какой сегодня день, соседка, стоявшая ко мне спиной, вдруг уронила ложку и выбежала в коридор. Остальные «хозяйшкы», как по команде, оглохли, а одна нарочно для меня сказала:

— Господи, насильник?! На такого-то и заявлять стыдно, плевром перешибешь, а гляди-ка... манчестерский друг!

Не знаю почему, но «насильник» и «манчестерский друг» как-то сразу связались с соседкой, что именно она пустила какую-то грязную сплетню. Для чего? Выяснить?! Это было ниже моего достоинства.

На вахте тоже почти отпихнули: Алина Спиридоновна хмыкнула, что уж скоро Филиппов пост, и демонстративно, как умеет только она, стала смотреть в окно. Когда выходил, бросила в спину:

— Есть ещё, есть людишки — сущие оборотни!

Наверное, и здесь «поработала» соседка?! Впрочем, на улице было так хорошо, что думать о плохом совсем не хотелось. Кутаясь в крылатку, шёл по снегу с таким удовольствием, словно моя жизнь ещё только-только начиналась.

В Парке пионеров умышленно свернул с тропки и остановился под берёзой. Лёгкий чистый морозец, низкое белое солнце, искрящаяся пыльца — и всего так много-много, что даже голова закружилась от солнечно-снежного изобилия.

Как было бы замечательно упасть навзничь и смотреть, смотреть сквозь инистые ветви на белое солнце.

Подстилая крылатку, я тихо опустился и лёг на спину. Никакого холода не чувствовал (мягкая белая колыбель) — вот так бы и умереть, тихо и спокойно.

Я подумал о смерти и не испугался её. Я подумал о ней не как о высшем наказании за проступки своей неправильной жизни, а как о необъятном космосе, вмещающем вечную жизнь, в котором мое «я» пребывает в бесконечных формах, ещё не узанных мною. Смерть — это узнавание самого себя там, за пределами доступного, где я уже был, есть и буду всегда как высшая реальность.

Мне ещё никогда не было так хорошо от понимания простых и очевидных истин. Невольно засмеялся над своими глупыми фантазиями: Жизнь — это смерть, а Смерть — это жизнь. Мне показалось, что я уже откуда-то оттуда смотрю на себя сквозь белые солнечные лучи, сквозь белые ветви деревьев, что я уже слился с землёю и чувствую её вибрацию как вибрацию своего единственного космического корабля.

— Эй, ты, а ну-ка вставай, чего разлѣгся? — услышал испуганный, полный наихудших подозрений голос. И сразу другой, раздражѣнно уговаривающий, что не стоит ввязываться: вдруг это очоурившийся бомж — хлопот не оберѣшься...

Я сел. У меня было такое чувство, будто я опять очутился в какой-то из своих новых фантазий.

— О, слава богу, цел!

— Давай пойдѣм, зачем он тебе сдался?!

— Затем... интересуюсь, мать-то у него есть? — Первый голос тоже стал раздражаться. — Эй, ты, а ну-ка вставай, чего расселся?

Я встал и опѣрся о ствол березы, сверкающий слюдяной дождь осыпал меня с ног до головы. Два

мужика в монтажных брезентухах и подшлемниках как-то неестественно встревожились, заглядывались по сторонам, словно я вдруг выпал из поля зрения, исчез. Наконец интересующийся как будто бы увидел меня.

— Ты куда собрался?

— На почту, — сказал я, потому что его напоминание о матери отозвалось во мне сонмом чувств (я откуда-то уже знал, хотя не знал, конечно, что соседка обманула меня, не отправила деньги), и я решил, что прежде всего займусь денежным переводом.

— Ну иди, — неуверенно разрешил монтажник и пригрозил: — А то в милицию отвѣдѣм, достукаешься!

Я пошел вглубь парка и вскоре вышел на следующую тропинку.

— Эй!.. Эй!.. — услышал удивлѣнные оклики монтажников.

Барахтаясь по пояс в снегу, они спешили ко мне, но, когда я остановился, боязливо повернули назад. Не знаю, за кого меня приняли, ясно одно: их привело в замешательство мое хождение по снегу — я не оставлял следов. В самом деле, когда оглянулся, никаких следов не было, очевидно, я прошел по крепкому насту, а крылатка подмела следы. Как бы там ни было, но до того легко и светло стало на душе, что я спешил на почту, действительно как бы используя левитацию, то есть не касаясь земли.

На почте встретили радушно, пригласили к пустующему окошечку, а когда отсчитал двести «рваных», кто-то высказал догадку, что это деньги похоронные, вынутые из чулка по крайней необходимости. Тут уж сочувствующие объявились, мол, а куда денешься, ведь в магазинах ничего нет, а то, что есть, дают из-под прилавка. И вообще ходят слухи, что с Нового года будет реформа и старые деньги отменят, вместо Ленина рисуют царя Бориса, а потом и лжедмитриевки пустят в ход.

В ЦУМе, как в пустом амбаре, гулким эхом множились редкие шаги. Я ходил от прилавка к прилавку, и всякий мой вопрос об одежде или обуви продавцы воспринимали как личное оскорбление.

На втором этаже даже продавцов не было. Уборщица, орудующая шваброй, завидев меня, крикнула:

— Кыш-кыш отсюда! — И уже под нос: — И шлындают целый день, и шлындают...

Слава богу, за магазином обнаружил стихийную барахолку. В живой цепи торгующих присмотрел финские полусапожки с красными проталинками на носках. Надел. Ноги так сразу и уснули в них! Никогда в жизни не ходил в столь приятной меховой обуви — десять трѣшек отвалил. Учитывая мой люмпенский вид, продавец хотел было скостить цену, мы уже остановились на двадцати пяти. И тут откуда ни возмись, в каких-то грязных сосульчатых малахаях, два субъекта появились. Я и лиц-то их толком не разглядел. Бесцеремонно встряли в разговор, мол, что и говорить: классные полусапожки — импорт!

И как-то незаметно-незаметно ушли и унесли мои старые ботинки.

Продавец моментально сориентировался (у меня даже возникло подозрение, что эти два странных субъекта — его сообщники), сразу повысил голос и уже даже за тридцать рублей не хотел уступать.

— Не хочешь за тридцать — снимай, я их по шестьдесят буду продавать, — сказал он и, присев, так рьяно стал хватать меня за ноги, что я вынужден был его упрощивать... чтобы не идти босиком по снегу.

В поисках продуктов оказался на привокзальном базарчике, на котором встретился со старшиной — сверхсрочником. Собственно, не встретился, а он подошел сзади, положил руку на плечо, как старому знакомому:

— Кларнет Оболенский?

Я принял игру:

— Ефрейтор Голицын?

Мы весело рассмеялись, каждый своей остроте. Потом он сказал, что наливать вина ему не надо, а вот водочки — не помешало бы.

Он уговорил взять у таксиста бутылку водки и пообещал дать взамен столько провизии, сколько унесу. Сделка была слишком заманчивой, чтобы отказываться. Впрочем, и водочка обошлась в копейку — червонец отдал.

Едва зашли за станционные ларьки, старшина сорвал зубами пробку и прямо из горла опростал полбутылки. Я выпил полглотка, только чтобы поддержать его. И — зря, в животе запекло, закорёжило, словно кипятка отхлебнул. Старшина обрадовался, что я непьющий, сказал — ему больше достанется. Заткнул бутылку носовым платком и спрятал в своей бездонной шинели. Потом предупредил, что весёлость его временная, через минуту-другую (как пойдёт) вполне может захмуреть, тогда надо резко крикнуть ему в лицо: хмуреешь! У него и кличка в части — Хмурый.

— Чуть появлюсь где, — поведал он, — уже слышу за спиной, издеваются: идет весёлый Вова Колбков! И такая злость вдруг накатывала, аж трясло, а после якутских событий — злость как рукой сняло.

На каком-то запасном пути залезли в товарный вагон, переоборудованный под склад, — маленькие зарешеченные окна на потолке походили на окна курятника. Всюду на обширных полках стоймя стояли пузатые бумажные мешки с крупой и ящики с консервами. Поперёк вагона, словно мосток с одного ряда полок на другой, лежала широкая дверь — своеобразные нары. Место под ними использовалось под дрова и тазы с углём. Сварная железная печка у входа заменяла кухонный стол, на ней стояла открытая банка тушенки.

Старшина рассказал страшные вещи. Оказывается, кроме всяких известных событий, были якутские, неизвестные, в которых по приказу свыше он самолично участвовал.

— Бывало, поймаем какого-нибудь подстрекателя и лупим, лупим бляхами — аж кожа лопалась. А уж как они нас смертно лупили, и резали, и убивали из-за угла!

Старшина заматерился, но не зло, машинально, и показал изуродованную шрамами руку и очень широкий бурый шов на груди.

— У меня ещё кое-что тут есть.

Он постучал указательным пальцем по виску. Я подумал, что таким странным способом он подчёркивает незаурядность своего ума. Тем более что старшина стал рассуждать о политике и даже пророчествовать.

— Запомни, студент (на привокзальном базарчике он наблюдал за мной и принял за студента культпросветучилища), что горбачёвская перестройка навязана нам извне. Она только начало огромной международной аферы против россиян. Настоящая же афера ещё впереди, она с ельцинскими реформами начнётся. Попомнишь... уже и нужные люди подобраны, а как же...

Он сделался угрюмым, как-то враз даже лицом потемнел.

— Хмуреешь! — крикнул ему, как он просил.

Старшина отшатнулся и заулыбался, словно я сделал ему комплимент.

— Молодец! Так и дальше действуй, — поощрительно сказал он. — Вся беда наша в том, что мы слишком много маршировали и пели «Широка страна моя родная...». В Прибалтике пели, на Кавказе, в Казахстане, в других союзных республиках, а они, нацмены, запоминали: как так, что в его стране русские поют «Широка страна моя родная...»?! Оккупанты эти русские!.. А мы-то пели по своей наивности. Мы думали, что раз мы их считаем русскими и пишем им в паспорта свои фамилии и национальность, то и они считают себя русскими — нет! Мы вырастили сами в себе пятую колонну, своих врагов, своих убийц вырастили! Потому что «русские» из нацменов больше всего и долбали своих, рьяно долбали, чтобы выслужиться! И выслуживались, вызывая у своего народа неприязнь и даже ненависть к нам, настоящим русским!

— Хмуреешь! — опять очень резко крикнул ему в лицо.

Но на этот раз он не отшатнулся, а, наоборот, почти вплотную приблизил свою физиономию.

— Чего орёшь?! Хмуреешь, хмуреешь, небось захмуреешь, если блуждающий осколок вот тут дислоцируется.

Он снова постучал по виску.

Разговор сломался. Я спросил, почему его не комиссуют? Он вообще рассвирепел, тяжело задышал прямо в лицо. Благо я напомнил, что у него ещё осталась водка.

Старшина перестал дышать. Осторожно, как-то даже боязливо ощупал карманы и, наткнувшись на

бутылку, тут же посветлел лицом, заулыбался, как младенец, почувствовавший материнскую грудь.

Сделав несколько глотков, успокоился, поставил бутылку на видное место, на так называемый кухонный стол. Сказал, что осколок ещё чуть-чуть давит на мозги, но уже понемножку отодвигается — от алкоголя. Ещё от внезапного резкого крика ослабляет давление.

— Наверное, специфическое дерганье головой влияет, — предположил старшина и посоветовал: несмотря ни на что, всё же кричать в лицо, чтобы осколок отчаливал от мозгов.

Я полагал, что он уже позабыл о моем вопросе, но старшина сам, без напоминания, вернулся к нему, объяснил, что комиссовать его могут хоть сейчас, но по другой статье, и тогда он лишится всех выплат и льгот по ранениям. А комиссовать по правильной статье никто не может, потому что тех переделок, в каких он побывал, официально не существует, официально этих событий как бы не было.

— Хмурешь! — заорал я, потому что отчётливо увидел, что старшина опять, и ещё даже пуще прежнего, почернел.

— Ничё, ничё, нормально, — успокоил он. — Это осколок поплыл в другую, безопасную сторону.

Он сказал, что всё уже знает про свой осколок, и рассказал схему, по какой происходят видоизменения: вначале лицо становится тёмно-синим, потом темень словно спадает сверху вниз, и лицо делается обычным, на щеках даже румянец появляется, какой у него всегда был до этих событий.

В самом деле, вскоре лицо посветлело, аппетит появился, а затем и румянец. Он пригласил и меня поесть, но я отказался — не с моим птичьим рационом начинать с тушёнки.

Узнав про мою дистрофию, старшина расчувствовался, полмешка манки насыпал, другой разной крупы и вермишели, консервов дал, растительного масла бутылку... В общем, вооружил под завязку. И всё спрашивал, думал ли я ещё сегодня утром, что встречу с ним и так замечательно проведу время!

Он тоже не думал и не предполагал, просто когда осколок зашевелился, вышел на привокзальный базарчик, чтобы посмотреть конкретно, за каких людей он кровь проливал. И тут я в крылатке — точно некий Дон Педро!.. Гитару бы ему и романсы петь, чем не кронштейн Оболенский? — якобы так, встретив меня, подумал старшина. (Он подразумевал меня героем известного романа, корнетом Оболенским подразумевал, но из-за присутствия в голове осколка путал слова, называл то кларнетом, то кронштейном...)

Засиделись мы с ним, наговорились... Если бы не осколок — умный парень, даром что сверхсрочник! Я от него многое узнал. И шутки у него оригинальные.

— Я, — говорит, — тебе спецпаёк макарон дам, с мясной начинкой, чтобы сразу их готовил пофлотски.

Надорвал бумажный мешок, выдернул несколько макаронин и, продувая, выстрелил из них пауками, точно из духового ружья.

— В Африке есть народы, которые без зазрения едят пауков, жуков и гусениц, — недовольно заметил он. И совсем уже сердито и без всякой связи с предыдущим предложил посмотреть «автоматную очередь».

Он растянулся на «мосточке» и из сверхдлинной, в нескольких местах искривленной макаронины выдул сразу несколько пауков. Они легли на стекле, точно вишнёвые косточки. Тут только обратил я внимание, что все окна как бы изрешечены кляксочками или побиты молью.

— Вижу, скучать не приходится, — весело ехидствуя, сказал я, но старшина даже не улыбнулся.

— Когда меня будут заносить в Книгу Гиннеса, в интервью для мировой прессы я скажу, что некоторые смеялись над моим увлечением. Ты будешь в числе некоторых.

Последние слова он сказал как будто с угрозой. И я подумал: уж не хмурит ли он?

— Со мной все в порядке, — успокоил старшина. — Завтра вагончик уедет, для некоторых в неизвестном направлении, и они никогда не узнают, кому пытались плюнуть в душу!

Уставившись, как удав, он медленно стал приближаться ко мне. И вдруг крикнул: хмурешь! Крикнул так резко и пронзительно, что я, отпрянув, ударился о стену.

Не правда ли, оригинальные шутки?!

Старшина помог мне дотащить мешки с провиантом до остановки такси, и тогда я преподнес ему ещё бутылку. Он растрогался, сказал, что берёт её только потому, что не знает, сколько ещё проторчит здесь, на запасных путях. Дело в том, что вчера ночью, никого не поставив в известность, вагон-склад отцепили в Чудове, а вместо него погнали в Эстонию какой-то другой товарный вагон. Начальник по перевозкам объяснил ему, что вагон его потеряли и теперь надо ждать, когда хватятся и затребуют.

Старшина расстроился, но я сказал, чтобы не расстраивался — завтра же приду в гости. Он не разрешил: завтра ему придется целый день сидеть на телефоне в военной комендатуре, искать своего начальника по тылу.

— Лучше всего приходи под Новый год. (Он оставит мне классное сообщение у начальника по перевозкам.)

Мы крепко обнялись и расстались как братья.

## Глава 22

Мои хождения по базарам и комиссиям, частые появления на кухне (готовил вермишель на говяжьей тушенке — чудный забытый запах на весь этаж) постепенно вернули мне утраченное уважение. А после того, как я добровольно вызвался быть

старшим по кухне, появились сторонники и даже защитники моих прав занимать конфорку без очереди. Всё у меня наладилось. И до того я привык к крылатке, что о пальто или другой верхней одежде даже не помышлял.

Накануне Нового года, когда усилились холодные пронизывающие ветры, мне попался на глаза на мусорной куче довольно затрапезный болоньевый плащ с огромным и почти новым капюшоном. Это было как подарок судьбы! Я оторвал капюшон и выстелил его изнутри куском ватного матраса и рогожи. Все бы ничего, но вата сбивалась в комок, и капюшон болтался на спине, как горб дромадера. Тогда я убрал вату и вместо неё поместил подушку. Она горбатилась, но уже не так резко, и я стал использовать капюшон не только по назначению, но и в качестве рюкзака (для какой-нибудь случайной снеди). Единственная незадача — частый ремонт крылатки.

В один из дней (я как раз ремонтировал свое одеяние) ко мне постучали. Пришёл Двуносый с сантехником Тутатхамоном. Я даже поначалу их не узнал — прифранчённые, в ярких зимних куртках с наворотами: на шнурках, «молниях» и липучках. Сели рядом на кровать: один — гигант, другой — словно юноша, не набравший веса.

— Оригинально! Очень оригинально-с!

Обычная реакция на всё, что связано с моим (скажем так) универсальным бытом. Впрочем, а судьи кто?

Двуносый по-барски вальяжно закинул ногу на ногу — пола не достал, пересел на табуретку.

Суть визита заключалась в том, чтобы забрать ружьё. У них возник серьёзный конфликт с конкурентами: пообещали прибить Двуносого, а киоск сжечь. Он, как заведующий торговой точкой, обращался в милицию, но там прямо сказали, что из-за их «Свинячьей лужи» никто не будет рисковать своей головой. Внаглую самовольно перетасили киоск с площади Победы и бросили напротив строящегося кинотеатра... И ещё штраф заставили заплатить... И это при всём при том, что у них есть официальная лицензия на место возле памятника вождю.

Во время моего разговора с Двуносым сантехник равнодушно молчал. Подал голос, когда впрямую заговорили о ружье.

— Я его обрежу и буду носить в штанах, — сказал он и, привстав, поднял куртку, похлопал по тому месту, где именно.

Уточнение произвело очень сильное впечатление. Двуносый похвастался, что ныне Тутатхамон — его личный телохранитель. Пока он платит ему за умение молчать и не вступать в разговор.

Мне показалось, что после замечания Двуносого Тутатхамон стал молчать уже не столько равнодушно, сколько важно.

— Знаешь, Митя, нам грех жаловаться. За месяц круглосуточной работы на площади нам не успевали подвозить пиво. Среди наших клиентов нашлись та-

кие тузы, что не постеснялись высказаться в нашу пользу по телевидению — впервые пивзавод стал работать на полную мощность. А почему?.. Да потому, что, как сказал один прозорливый гаишник, мы исключительно вовремя, к тараньке и пиву, приспособили свои очень хорошо проявленные мозги.

Двуносый не без гордости поведал, что как только они вывели на стенах киоска ярко-жёлтые указатели в сторону памятника, а под ним вывесили не менее яркие транспаранты «Он тоже любил пить пиво большими кружками!», так сразу и срезали намертво всех конкурентов — люд со всего города повалил пить пиво именно к ним. Как заведующий торговой точкой, он не скрывал, что идея интеллектуального подавления конкурентов полностью принадлежала ему.

Тут опять как-то разово вмешался сантехник — гигантски вперился в потолок, резко выпростал руку и заявил зычно и трагично:

— С виду плюгавенький — тьфу! — Шаркнул ногой, словно растер зава вместе с плевком. — Да удаленький! Голова-а — золотая! Башковитая голова, людей читает как по Писанию!

Своим внезапным заявлением сантехник опять произвел на меня очень сильное впечатление. Однако Двуносый возразил:

— Какая там голова? Чуть поумней некоторых, и уже — голова-а, голова-а!.. Вот у Мити голова, с высшим гуманитарием! Но только ты, Митя, не обижайся, пока она без должного применения.

Он стал сетовать, что в поэзии «ни в зуб ногой», а сейчас, как никогда, нужно поэтическое слово для сногшибательной рекламы. Двуносый попросил меня, как поэта с дипломом, написать достойное стихотворение — не бесплатно, конечно, за гонорар. Я выдал экспромт:

Твой путь все уже, уже, уже,  
но это, право, не беда.  
Направь стопы к «Свинячьей луже»,  
и он расширится тогда.

Конечно, подобные «стихи» нигде не могут быть признаны стихами, разве что «кроме, как в Моссельпроме». Я для того и выдал экспромт, чтобы поскорее выпроводить незваных гостей. Но Двуносый так обрадовался, так сыпал направо и налево комплиментами, что у меня возникло некоторое сомнение — может, и впрямь неплохое четверостишие?! Во всяком случае, на нижайшую просьбу Двуносого чуть-чуть подправить стихотворение (придать ему побольше коллективного звучания), отозвался с готовностью. В товарном виде оно звучало так:

Наш путь все уже, уже, уже,  
но это, братцы, не беда.  
Для тех, кто пьёт в «Свинячьей луже»,  
он расширяется всегда.

— Хоп-хоп! — закричал Двуносый. — Покупаю!

Трудно объяснить, почему я не взял денег за стихотворение, но не взял. Сказал, что дарю его в знак дружбы. За ружьё тоже не хотел брать. Но тут уж Двуносый настоял, дескать, они тогда пили в счёт ружья. Точно купец достал из внутреннего кармана куртки лопатник и новенькими хрустящими двадцатипятками отвалил двести пятьдесят рублей. Особенно удивило, что новенькими.

— Дорогой Митя, мы же с банком напрямую работаем! Я же заведующий торговой точкой. — Он самодовольно потёр руки. — А за стихотворение, пока действует «Лужа», четыре бесплатные кружки, ежедневно, — твои.

Я поблагодарил Двуносого. Мне показалось, что хотя он и находится во власти прежних традиций и представлений об окружающей жизни, в нём произошла заметная перемена. Как будто всё то же юродство и бахвальство примитива и в то же время цепкий захват и удержание лидерства в доставшейся ему нише. Перемена была настолько разительной и убедительной, что я напрямую спросил:

— Скажи, как зав, выкарабкаюсь я или?..

Никогда я не считал себя проницательным человеком. И, спрашивая, был готов к тому, что Двуносый ни в каком виде не ответит прямо, изберёт какую-нибудь неожиданную форму юродства. Тем острее ощутил прямоту, неопровержимость его правды.

— Не знаю, Митя, ты ставишь себя вне денег, а сейчас всё крутится только возле них — хапают все, кто может. (Он перешёл на шёпот. Видимо, не хотел, чтобы его слышал Тутатхамон, который занимался упаковкой ружья.) За себя скажу точно, если до Рождества не прибьют, то как минимум открою ещё три дополнительных киоска. Я не поэт, Митя, я даже не бухгалтер, но я уже думаю деньгами.

Он окликнул сантехника, и они, не прощаясь, вышли из комнаты, позабыв закрыть дверь.

— Видал, какой наряд мастрячит?! Колдун! А тела — нету...

— Зато у тебя повсюду тело, уже и уму негде расположиться, — возмутился Двуносый, но не зло, а только чтобы показать, что возмутился. (Наверное, ему было приятно, что не только у него нет тела.)

Я захлопнул дверь и, отложив крылатку, занялся генеральной уборкой. Мне хотелось отвлечься, чтобы не думать о политике, но всякие мысли сами лезли в голову.

Да, была уравниловка, да, процветала бездуховность, но нравственные ценности не подлежали пересмотру. Именно поэтому мы замечали и ложь, и бездуховность, и уравниловку... Нравственность, как здоровье нации, нельзя купить ни за какие деньги. А если все, что вне денег, автоматически выпадает из жизни, то скоро за бортом окажется сам человек. Какая разница в том, что преждее инакомыслие запрещалось властью, а нынешнее — замалчивается, буд-

то его нет и в помине? Картина, написанная талантливым художником, уже сегодня представляется большей ценностью, чем сам художник, или вообще остается не востребованной. За тысячелетия от сотворения мира мы так ничему и не научились. Мы вновь и вновь совращаемся все тем же запретным плодом — вседозволенностью. Да-да, вседозволенностью... Нам семидесяти трёх лет не хватило, чтобы построить коммунизм, но вполне достаточно пяти-сот дней, чтобы устроить демократический рай. Наши поводыри либо безнадёжные недоумки, либо аферисты, для которых, как сказал старшина-сверхсрочник, начало ельцинских реформ есть начало огромной международной аферы...

Я вновь захандрил, меня ничто не интересовало. Не знаю, как бы я выбрался из своего удручающего состояния, если бы не уже известная встреча с прапорщиком. Вспомнив о нем, вспомнил и о своем обещании — побывать у начальника железнодорожных перевозок. Может, ничего страшного? Может, я просто хмурую оттого, что уход Розочки давит на сердце, словно блуждающий осколок — на мозги старшине-сверхсрочнику?!

Утром тридцать первого декабря изрядно вьюжило, и я, чтобы опробовать капюшон, приделанный к крылатке, пошел на вокзал пешком. Естественно, пошел через Волхов, чтобы сократить путь, и вскоре пожалел об этом. Дело в том, что на голом пространстве реки порывы ветра были настолько сильными, что я не успевал гасить их под крылаткой. Система моих креплений (подвязок из бельевой веревки) практически не срабатывала. То есть срабатывала — как стропы раскрытого парашюта или концы паруса, наполненного снежным вихрем. Чтобы продвинуться вперед, приходилось налегать на упругую стену, которая вдруг сама налегала на меня то сбоку, то сзади, а то и сверху. Разумеется, я падал много раз. Но однажды поскользнулся особенно неудачно: порыв ветра подхватил меня, и вначале я побежал, а потом уже плашмя заскользил по мокрому льду прямо под новый городской мост, под которым вода почему-то никогда не замерзала. Если бы не утепленный капюшон (случайно зацепился им за какую-то вмерзшую в лед лесину), точно бы угодил в полынью. В общем, чуть не лишился крылатки, а в одежды нагрёб столько оледеневшего снега, что уже на вокзале, когда отогревался под лестницей, один сердобольный отец сказал, что бывает... и, многозначительно поглядывая на лужу, в которой я стоял, рассказал про «подобный случай на евпаторийском вокзале, на котором, оказывается, как и здесь, нет поблизости ни одной уборной».

Начальником перевозок оказалась молодая особа, очень похожая на стюардессу. В тёмно-синем костюме и белой кофте, стройная и подтянутая, она излучала такую уверенность в себе, что это показалось мне даже неприличным. Поначалу я принял её

за официантку из привокзального ресторана. Тем более она стояла у окна, а за столом, над какой-то бухгалтерской книгой, сидел совершенно лысый и начальнически озабоченный моложавый мужчина.

— Мне тут должны были оставить весточку, — сказал я и, чувствуя, что молодая особа бесцеремонно разглядывает меня, натянул бельевые шнуры и петли, чтобы посильнее прижать к спине горбатый комок капюшона.

— Вот, полюбуйтесь, типичный теплотрасник, перебравшийся на зиму к нам, — представила она меня, словно давнего знакомого, и уже мне (устало, точно не единожды беседовала со мной) сказала: — Хоть бы вещмешок снимал, когда заходишь в кабинет, ведь в нём же нет ничего, кроме грязного рванья и блох.

— Надо проверить, может, там у него самородки золота? — ухмыляясь, съязвил лысый и встал из-за стола.

Я замер, весь превратился в ожидание, как натянутая струна. В нашем городке ещё и сейчас бомжей называют теплотрасниками. Но не это задело... Я мгновенно представил, как лысый, язвительно ухмыляясь, начнёт рыться в капюшоне, в грязной сырой подушке, сбившейся в комок, а молодая особа, не скрывая отвращения, скажет: ну, что я говорила?!

— Вы не имеете права... Я никогда не был теплотрасником! Я — поэт! — сказал с вызовом и почувствовал, что внутри словно сорвался крючок: я полетел в пропасть.

Невесомость падения вызывала тошноту — я никогда прежде не говорил, что я — поэт. Для меня это было равносильно заявлению: я красивый, и не просто красивый, а красивее любого Героя Советского Союза. Разумеется, меня называли поэтом и даже Поэтом-Летописцем, но чтобы сам — такого ещё не бывало.

И вот на вокзале, стоя перед неизвестными людьми в своей незамысловатой, но теперь уже по особому дорогой крылатке, я сорвался в пропасть. Самую бездонную и самую гнусную, потому что, утратив нравственную точку отсчёта, почувствовал себя неуязвимым. Более того, с каждой секундой моя неуязвимость возрастала прямо пропорционально ускорению свободного падения. Единственное, что досаждало, — тошнота и ещё как бы запекавшая мысль: поменял шило на мыло.

Дальнейшие подробности неинтересны и даже скучны. В ответ на мое заявление молодая особа сказала, что если я поэт, то она — английская королева. А лысый, встав из-за стола и квалифицированно отеснив меня от двери, попросил считать его начальником милиции. Он довольно строго потребовал документы, удостоверяющие мою личность, и, если бы не диплом литературного работника, который по старой памяти я всё ещё носил во внутреннем кармане пиджака, вполне возможно, что Новый год при-

шло бы мне встречать в камере предварительного заключения.

Диплом произвёл сильное впечатление. Начальница вдруг вспомнила, что знает поэта Слёзкина — читала стихотворение в газете, в которой была опубликована и её заметка о нарушениях оформления перевозок. Попросила, как говорится, сменив гнев на милость, чтобы я прочитал какое-нибудь своё стихотворение. При этом она так откровенно кокетничала, что лысый даже обиделся на меня. Стал придирается: откуда я знаю старшину, почему именно его вагон потеряли, а вместо него отправили товарный, нагруженный медью?.. Странные вопросы, не по адресу. Начальница вступилась за меня и так и сказала:

— А он-то здесь при чём?

Она вытащила из шкафа тяжелый сверток, крест-накрест перетянутый капроновой бечевой, и прочла: — Кларнету Оболенскому от...

Выдержала довольно-таки продолжительную паузу, пока я не сообразил:

— От ефрейтора Голицына.

Начальница засмеялась — совпадает! А она уж думала, что старшина совсем того... Весело постучала по шкафу и объявила лысому, что, как ни странно, от моей забавной одежды веет не куревом, как от некоторых, а — ароматом фиалок.

В знак благодарности я прочёл экспромт «Наш путь всё уже, уже, уже...», чем неожиданно для начальницы привел лысого в неописуемый восторг. Он не только простил мне «аромат фиалок», но даже пожал мою руку. В ответ начальница посмотрела на него с весёлым сожалением: мол, кому что!

В общежитие вернулся на автобусе и, наверное, позабыл бы и о начальнице, и о лысом, если бы не ещё одна встреча с ними, которая, как понимаю сейчас, оказалась судьбоносной...

## Глава 23

Старшина оставил мне бесценный клад — девять банок тушёнки. По тем временам подарок неслыханно щедрый. Но более всего меня тронуло его послание, написанное химическим карандашом на плотном клочке бумаги, оторванном от мешка, которое я прочёл уже в общежитии.

«Дорогой кронштейн Оболенский, — писал он, — возьми паёк, как подарок тебе на Новый год! Ты в нужное время был в нужном месте и спас меня. Теперь буду жить потому, что, встретив тебя, убедился: жить с пользой для нуждающихся можно в самом затрапезном виде. Главное — не хмуреть. До встречи, брательник, ищи меня в Книге рекордов Гиннеса. Жму руку, твой ефрейтор Голицын — не хмурей!»

Незамысловатое и даже как будто глупое послание старшины. Его девять банок тушёнки, на окрайках не отёртые от солидола, поразили меня так сильно, что с призывами «не хмуреть!» я уткнулся в подушку, как красная девица.



Это не был горестный плач от невыносимой утраты или невысказанной обиды. Нет, нет и ещё раз — нет. Я плакал от радости и умиления своей нужностью, о которой раньше даже не подозревал.

Если я кому-то помог, не помогая, то скольким могу помочь, если это поставлю своей целью?! Именно в эту минуту я по-настоящему понял Розочку и по-настоящему простил её. Я плакал от необъяснимого везения, которое всякий раз, когда я оступался и допускал непростительную ошибку, приходило на помощь и указывало единственно верный путь. Вот и сейчас: жить с пользой для нуждающихся — вошло в меня, словно глас свыше. И я, как и всякий православный на моем месте, тут же покаялся, что давненько уже не был в церкви, и тут же пообещал Всевышнему, что ещё до Рождества побываю и непременно причащусь Святых Тайн.

Любой мало-мальски верующий, вспомнивший о Боге, никогда не скажет в сердце своём: мол, с такого-то числа начну делать людям добро. Напротив, он постарается приблизить время и уже с той секунды, что вспомнил, будет искать случая для доброделания. Я не был исключением и воистину испытал великую радость уже от одной только мысли, что могу воспользоваться подарком старшины прямо по назначению и облагодетельствовать им весьма многих.

Вначале постучал в комнату к своим, так сказать, доброхотам. Никто не ответил. Потом в ближайшие двери — тоже молчание. Оказалось, что большинство жильцов уехали на праздники к родителям, остались совсем уж одинокие или связанные необходимостью по работе. (Что же касается компании Двуносого, то они уже давно не жили в общежитии и заходили лишь изредка, чтобы оплатить комнату. Мне сказали, у них есть огромное подвальное помещение в самом центре города, которое они используют и под склад, и под жильё.)

Разузнав обстановку, сложил всю, что была, тушёнку в сетку (от первого визита к старшине оставалась ещё одна банка) и прежде всего постучал к соседке напротив.

Она открыла мгновенно и так же мгновенно хлопнула. Только и успел заметить мелькнувшую вязаную кофту шахматного цвета.

— Чего тебе надо? — сердито спросила из-за двери.

— Разрешите поздравить вас с Артуром с Новым годом, — сказал я как можно ласковее. — Прошу принять от меня небольшой презент.

— Катись отсюда — презент! — крикнула она раздражённо.

Конечно, с её стороны это была несправедливая грубость, но и её в общем-то можно было понять. Я растерялся, не зная, что делать.

— Ещё раз говорю: уходи! Артура нет, он в деревне у бабушки!

Помолчав, вдруг поинтересовалась, что за презент.

— Банка тушёнки, — сказал я.

Соседка стала выяснять, какой тушёнки, говяжьей или свиной? На мой ответ, что не знаю, банка без этикетки, чуть-чуть приоткрыла дверь, по локоть выпростала руку — давай!

Следующие несколько комнат были заперты, и соседка, теперь стоявшая у двери, подсказала, чтобы прошёл в конец коридора, за умывальник. Действительно, все оставшиеся комнаты при одном моём приближении разом отворились, даже не надо было стучать. Молодые хозяйшечки выстроились в ряд, и в мигающем свете неона казалось, что их длинные скачущие тени, любопытствуя, выпрыгивают у них из-за спин. Иллюзию любопытствующей суеТЫ усиливали и их вопросы, адресованные соседке через мою голову.

— Тома, чего ему нужно?.. Ой, девоньки, никак, наш насильник наконец-то и к нам маньячит?! Скорей держите меня, Томку-то он уже обратал!.. Тома, обратал?!

И ещё всякие непристойности, игриво пугаясь, смело выкрикивали наши так называемые девоньки, что, не будь позади меня соседки, я непременно бы бежал от них. Однако пришлось пересилить себя.

— Дорогие сударушки! Разрешите поздравить вас с Новым годом и преподнести небольшой презент! — возгласил я и, пользуясь их замешательством, быстро обежал всех.

Моя энергичность оправдала себя. Они, громко удивляясь, благодарили и тут же спрашивали друг дружку: что бы все это значило?

Возвращаясь назад, я уже загодя решил, что все оставшиеся банки отдам соседке. Я чувствовал перед нею какую-то необъяснимую виновность. И тут меня догнала внезапная догадка сударушек, нелепейшее предположение о том, что, наверное, завтра, как некогда Гиви, меня арестуют. Дескать, тот тоже вот так же раздавал презенты. Это была ужасная глупость! От неожиданности я даже маленько приостановился.

— Том, а Том, а этого-то за что забирают?

Соседка нырнула в комнату и перед моим носом так остервенело хлопнула дверью, что с косяков посыпалась штукатурка.

Уже лежа на кровати, решил не выходить из комнаты, чтобы не портить ей настроения и не усугублять своего. Встречать Новый год за праздничным столом в кругу семьи или друзей — это, конечно, здорово, но можно встречать и за чтением какой-нибудь хорошей книги.

Моя библиотека — это я. Да-да, без всяких шуток. Она разделяется на три части.

Первая — всевозможные словари, справочники и очень много всякой специальной литературы: собаководство, птицеводство, овощеводство, садоводство и так далее, и так далее...

Вторая — моя гордость, произведения, которые мне понравились или удивили и я приобрел их, чтобы всегда иметь под рукой. Большинство из них до-

сталось мне бесплатно, потому что я приобретал их в библиотеках как списанные, как макулатуру. Я даже прошел курсы реставратора-переплётчика, чтобы многие любимые произведения привести в надлежащий вид.

Третья часть — священные писания: Библия, Бахагад-гита, стихи Будды (так называю книгу «Дхаммапада»), Коран, несколько брошюр о конфуцианстве и Лао-цзы — вот и всё, маленькая по объёму часть. Вообще-то человечество сохранило двенадцать священных писаний, двенадцать религий исповедуются людьми. Ещё в студенческие годы влекла мысль написать некую быль о Едином Боге, который устал выслушивать жалобы и похвалы людей, враждующих на религиозной почве и всегда призывающих в судьи Его, Единого. Запомнилось начало произведения, которое озаглавил «Двенадцать истин».

\* \* \*

— Ну, это уже становится просто смешно, — досадованно сказал Бог вслух, и повсюду в райских кущах, весело выглядывая и прячась, стали смеяться ангелы, повелевая божественным животным и цветам вести себя так, чтобы это действительно было смешно.

Бог засмеялся. «Глупо, конечно, но хорошо, — подумал Он и скрыл свои мысли. — Однако земных дел здесь не решишь, их надлежит решать на земле».

Господь Бог тайно явился на землю и подошёл к костру, возле которого сидели Христос, Будда, Аллах, Яхве, словом, все двенадцать Учителей (к тому времени они уже слыли пророками, апостолами Его Божественной Истины). И вот Господь Бог в облике странника снял котомку и, славя мир за то, что в нём много хороших и разных Учителей, вдруг высказал сомнение: как так, чтобы множество учений были истинными — ведь Истина одна?..

— В таком случае что такое Истина? — спросил Бог Учителей народов, а по духовной сути спросил Своих Сыновей.

Все Они, естественно, ответили Ему в строгом соответствии со своим учением, то есть Священным Писанием, так, что у меня сразу возникла загвоздка: а как же быть с ответами Сыновей, священные книги которых отсутствуют в моей библиотеке?! В стране поголовного атеизма я натолкнулся на непреодолимую стену, — пришлось отказать от сочинения «Двенадцать истин», чтобы не оказаться истинным ялземцем.

Я присел на корточки и, взяв сборник стихов Будды, открыл наугад. Глава о просветлённом, стих 187: «Он не находит удовлетворения даже в небесных удовольствиях. Полностью просветлённый ученик радуется только уничтожению желаний». Невольно задумался — в общем-то сказано и обо мне. Во вся-

ком случае, у меня нет желания искать встречи с кем бы то ни было в общезитии.

В комнату постучали, какой-то веселый игривый стук.

\* \* \*

Я верю в народную примету: как встретишь Новый год, таким и будет весь год. Чтобы не вспоминать, как встретил (душа, словно рана, кровоточила от всякой неосторожной мысли), и в то же время желая вспомнить самые мельчайшие подробности прошедшей ночи, я придумал игру. Я не вспоминал, а как бы обдумывал повествование своего нового романа... (Романа с соседкой Томой.) Я надеялся обмануть себя, саднящую под сердцем боль. Поэтому, чем ничтожней я представлялся самому себе, тем более значительным и эпически возвышенным должно было быть повествование. Кроме того, чтобы усыпить боль, я должен был думать о себе отвлечённо, то есть в третьем лице, то есть как бы о герое литературного романа, который хотя и заставляет сопереживать, но конкретно ко мне никак не относится.

Поздним вечером, как раз в канун Нового года, из своей общежитской комнаты вышел молодой человек лет двадцати трёх от роду. Он был в байковой крылатке с откинутым капюшоном, поверх которой празднично блестели вразброс приклеенные из фольги звёзды и луны. Лицо молодого человека скрывала черная полумаска, он был сам себе на уме, и ему стоило больших усилий, чтобы вот так, прервав полезное чтение, выйти из своей комнаты. Но он вышел, ему показалось неудобным отсиживаться. Зная нравы жильцов, он был уверен, что после третьего приглашения они воспримут его отказ как личное оскорбление: мол, сам сохатый-рогатый, жена ушла, а гляди-кось, брезгует! Им нельзя, они беленькими рученьками по мусорным контейнерам шныряют... И ещё всяко-разно будут за глаза поносить его, так что он не только облитый помоями войдёт в Новый год, но ещё и прошепчет по нему обвешанным всякими непотребными очистками.

Человек в полумаске лёгкой летящей походкой пересёк коридор — хор голосов отозвался на его стук. Он отворил дверь и сразу оказался как бы участником застолья. Сдвинутые в торец столы, густо уставленные бутылками и всякой домашней снедью, словно бы наехали на него, притиснув к косяку.

— Ура-а, поэт-звездочёт!.. Мистер Икс!.. Наш гадатель-предсказатель!.. Девки, девки, пусть погадает! Колька, Колька, пусть угадает, что я сегодня уже хочу?! — Ещё всякое, не столько весело и пьяно, сколько развязно, кричали раскрасневшиеся так называемые женщины-одиночки, которые никак не походили на одиночек. (При каждой сидел свой Колька из тех тёртых, какие чётко знают цену своему приглашению.)

Откровенность намерений всех присутствующих была так доходчиво запечатлена на лицах, что моло-

дой человек смутился. Ему показалось, что он неожиданно-негаданно прервал уже сам акт воплощения намерений. Это было так глупо, так мерзко, так стыдно, что, ни слова не говоря, он толкнул дверь, чтобы ретироваться, и едва не налетел на соседку. Она взвизгнула и весьма удачно увернулась, потому что впереди себя держала огромную пышущую сковородку тушеной картошки.

— А-а, это ты?! А я к тебе опять заходила, — объявила она так запросто, по-свойски, что не только у окружающих, но и у него самого сложилось впечатление, что они давние друзья, прямо-таки неразлейвода.

Вообще-то всё очень кстати получилось. Он помог соседке поставить сковородку на стол и по линиям ладоней, словно заправский хиромант, предсказал ей таинственную встречу с загадочным человеком, который вначале похитит её на иную планету, а потом вернет счастливой и прекрасной. Он даже пообещал ей, что это случится в сегодняшнюю новогоднюю ночь.

— На себя намёкивает, на себя! — шумно загоготали Кольки.

Тем не менее его предсказания нашли бурный отклик. Женщины наперебой стали протягивать к нему руки, прося погадать. Да, давно он не испытывал к себе такого повышенного интереса со стороны прекрасной половины. Особую настойчивость проявляла подруга конкретного Кольки, который сразу же запротестовал: «Лялька, ревную!» — и, налив почти полный стакан самогонки, потребовал, чтобы звездочет осушил штрафную. И он осушил и чуть было не упал навзничь, так резко в голову ему ударил хмель.

Соседка удержала его, и усадила рядом, и стала опекать его, будто своего Кольку или Гиви. Молодой человек радостно смеялся: впервые в жизни его ревновали.

— Тома, твой звездочёт в фокусе, — между тем продолжал жаловаться Колька. — Заслоняй его, а то с Лялькой уже нет никакого сладу!

Действительно, Лялька тянулась через стол, опрокидывала стаканы, а он, молодой человек, чувствуя невыразимое веселье души, не мог даже пригнуться. (Ноги не слушались, и все предметы вокруг плавали, словно в воде.)

На помощь опять пришла соседка, она весьма чувствительно хлестанула Ляльку по рукам (во всяком случае, Лялька вскрикнула) и, загородив звездочёта собою, стянула с него полумаску, а потом и крылатку. Всё было очень весело, но с этого момента в памяти обнаруживались обширные пустоты и бессвязные эпизоды, которые, несмотря на все ухищрения, отзывались саднящей болью даже в душе этого, казалось бы постороннего, молодого человека.

Он хорошо помнил, что ещё задолго до двенадцати Лялька и Колька демонстративно целовались, а все, в том числе и он, хором кричали «горько!» и по-

сле каждого поцелуя хлопали в ладоши и даже устраивали овацию. Потом каким-то образом брачные пары менялись, и всякая новая невеста непременно облачалась в его крылатку и уже в полумаске доступно подставляла губы. Он тоже несколько раз обнимал и целовал какую-то Ляльку, может, это была соседка Тома, а может, и нет... Просверком вспоминался пик вечеринки — бой курантов по телевизору и хлопок шампанского. Затем сразу улица, праздничные возгласы, песни. Снег вспыхивал яркими голубыми искрами, они смеялись, играли в снежки, а потом его откапывали из сугроба и волокли по лестнице вверх, и какое-то длинное эхо превращалось в снежную лавину, из которой выскакивали белые лопающиеся пузырьки — го-тов, го-тов, го-тов...

Среди ночи к нему пришла Розочка, холодно легла с ним, он просил у неё прощения, но она была неприступной. Потом в каком-то внезапном порыве она притянула его к себе — он прощён, он полон невыразимого восторга, ему кажется, что сейчас, как в детстве, он потеряет сознание! И точно, всё смешалось, утратило очертания и формы... И вдруг режущий глаза свет. И совершенно ужасная картина: он лежит на огромном белом как бы операционном столе, лежит голый (как говорится, в чём мать родила), а над ним в знаменитой шахматной кофте с абсолютно обнажённой грудью и коленями соседка Тома с сантиметровой лентой в руках.

— Спокойно, спокойно, — сказала она и легонько похлопала по животу. — Закрой глаза и спи, не обращай внимания.

Он закрыл глаза, а когда открыл — было уже утро и он лежал под простынею все так же совершенно голый и боялся пошевелиться, чтобы не потревожить саднящую под сердцем боль. Он силился вспомнить подробности прошедшей ночи, касающиеся лично его, но при этом думал о себе в третьем лице, как бы о некоем литературном герое, конкретно не имеющем к нему никакого отношения. Впрочем, это удавалось ему лишь отчасти, и он — страдал.

## Глава 24

Все дни после Нового года я думал о себе и воспринимал себя не иначе как в третьем лице. И звездочёт (гадатель-предсказатель), и поэт Митя Слёзкин были моими хорошими знакомыми и даже больше чем знакомыми — они были частью меня, как и я их частью. Они знали всё друг о друге и почти ничего — обо мне. То есть они как-то догадывались, что есть Я, но — кто такой?.. В самом деле, кто Я, если ношу в себе и того и другого и сам являюсь их плодом, плодом неудачных отношений? Более того, точно знаю (и они этого побаиваются в своих догадках), что именно распри между ними как раз и вызвали меня к жизни.

Тем не менее именно Я, некто третий, жаждал не только примирения звездочёта и поэта Мити Слёз-

кина, но и их слияния. Да-да, слияния в единое общее «я», в результате которого Я, некто третий, рассеялся бы и исчез, как дым, как дурной сон, то есть уступил бы свое место новому Мите Слёзкину, обогащенному опытом звездочёта. Но именно этого-то как раз и не хотел прежний Митя! (Ему представлялось слияние со звездочётом каким-то добровольным безумием, которое если и явит его, нового, то только в качестве сумасшедшего.)

Конечно, такая перспектива не устраивала никого. Или шаг влево (со всеми исходящими и восходящими — «побег»), или уж лучше смерть, чем сумасшествие!..

В общем, всем «я» было чего побаиваться, тем более что все они свидетельствовали об одном — ужасном разладе в душе былого Мити Слёзкина, достигшем критической точки. Однако по порядку, о распрах.

Утром, когда я (ещё не ведавший, что Я — некто третий) лежал под простынею и силился понять, что случилось, почему соседка в таком же, как и я, Адамовом одеянии, обмеривала меня, слышались легкие уверенные шаги. Они, не замедляясь, вошли в комнату, как входят к себе. Каким-то непонятным чутьём сразу угадал — соседка! И она, в отличие от меня, озабочена не тем, что произошло вчера, а тем, что должно произойти сегодня, сейчас.

Поэт Митя Слёзкин, точно комок задохнувшегося крика, трепыхнулся в груди и в ужасе забился в угол. (Мне стало жаль его. Вот здесь я почувствовал, что Я — некто третий, что Я — всего лишь наблюдатель, наблюдения которого никому не мешают действовать себе в угоду.)

«Туда тебе и дорога», — безжалостно констатировал звездочёт и, потянувшись, как потягиваются мартовские коты, раздулся от важности, заполнил собою освободившееся пространство.

«Это тебе не Розочка, которая бросила тебя как пустое место, — уже, как хозяин положения, с гордым превосходством резюмировал звездочёт. — Учись, поэт, мы сейчас свои затеем страсти-мордасти!»

И Я, и поэт Митя, и звездочёт легко слышали мысли друг друга и, естественно, обменивались ими, не прибегая к речи. Для всех окружающих нашей раздельности не существовало, никто не воспринимал нас обособленно: это — звездочёт, это — поэт Митя, а это — Я, некто третий. Нет-нет, разделившись, мы находились в оболочке единого «я», и только в нем, как в представительском мундире, каждый из нас мог появляться перед окружающими и своим отдельным Я представлять всех нас троих. Вот в этом-то как раз и крылась причина разлада, причина распрей, но не буду забегать вперед.

В комнату вошла соседка — с распущенными волосами, в голубеньком мини-халатике, полная какой-то показной энергичности.

— Поэт-звездочёт (наглядный пример, что в видимом мире никто нас не разделял), хватит дрых-

нуть! — сказала она и, сняв шлепанцы, с ногами взобралась на кровать. — Ты-то хоть помнишь, как вчера наизусть декламировал мне стихи?

Поэт Митя Слёзкин, в отличие от звездочёта Слёзкина, невольно съёжился, он вспомнил, что действительно читал стихи.

— И все о любви, и все презентовал мне! — самодовольно сообщила соседка.

Митя устало пошевелился — он не просто читал стихи, он, намекая на Гиви, во всеуслышание объявлял, что презентует их очаровательной Томе и её сыну Артуру.

— Да что ты?! Ничего не помню — перебрал! — «признался» звездочёт, поворачиваясь к соседке. — Хотя нет, помню, среди ночи появилась очаровательная незнакомка с сантиметром в руках...

Он неожиданно отбросил простыню (Митя невольно жался в комочек) и, обхватив соседку за талию, бесцеремонно потащил на себя, валясь на подушку.

— Она замеряла, кого она замеряла, уж не сеньора ли?! — давась смехом, многозначительно вопрошал звездочёт.

Соседка тоже рассмеялась, она поняла скабрёзность намёка, но именно скабрёзность и рассмешила её. В ней она уловила законное право звездочёта на неё как на свою... Да-да, на свою женщину. Она, может, только потому и заявила к нему с распущенными волосами и в мини-халатике, чтобы выяснить, насколько он хочет воспользоваться предоставленным ему правом.

— Совсем, совсем не то, на что ты намёкиваешь! — притворно отбиваясь, сказала она, смеясь. — Я тоже хочу сделать презент. — Как бы желая сообщить, о каком презенте речь, оттолкнулась двумя руками и вдруг, уступив новому внутреннему порыву, сама припала к его груди и прошептала с неожиданной горячностью: — А ты, Митя, знаешь, очень даже ничего!..

Что произошло дальше?! Об этом, как говорится, история умалчивает.

Назвав звездочёта Митей, соседка и думать не думала, что станет своего рода яблоком раздора между ними. Но так случилось и не могло не случиться уже потому хотя бы, что всему, о чём история умалчивала, поэт Митя был не только невольным свидетелем, но и невольным участником и соучастником. Разумеется, его, как влюблённого в Розочку, вся эта внезапно открывшаяся зависимость от сладострастника звездочёта не только возмущала и оскорбляла, но просто приводила в отчаяние.

Вообще всё в этот день складывалось для поэта Мити чрезвычайно плохо: опустошённость, провалы в памяти, появление соседки и, главное, её обезкураживающая доступность. Именно тогда, чтобы избежать контакта с нею, он самоустранился, а звездочёт воспользовался — ни его, ни соседки не пощадил. Правда, она и не нуждалась в пощаде. Рас-

красневшаяся, счастливая соседка удовлетворенно лежала подле звездочёта в сладостном забытии, а он, вперившись в потолок, бесстыже подтрунивал над Митей:

— Учись, поэт, брать быка за рога! Прошу прощеньица — бурёнку за вымя. Просто «милки мэ-э» — замычишь от удовольствия!

Он нарочно, для Мити (показал свою власть), помял её обнаженные груди и, балуясь, поиграл сосцами, словно своими личными принадлежностями. В заключение, точно тёлку, похлопал по заду.

— Бьюсь об заклад, ничем не хуже твоей Дульси-неи! Ну, может, линии не такие округлые, зато и норовом не такая взбрыкистая.

Соседка по-своему расценила действия звездочёта, придвинулась к нему:

— Митя, поглянь, какой ты ненасытный?! А если тебя подкормить?!

Она прыснула и, поднырнув звездочёту под руку, вдруг сжалась, словно от внезапной боли.

— Ты, наверное, сильно на меня обиделся?

Она затаилась, даже дышать перестала.

— С чего, за что?! — не понял звездочет.

«Он туп, глуп и, как следствие, самодоволен», — подумал поэт Митя.

— За деньги, которые должна была отправить твоей матери, а получилось, что присвоила.

Какое-то время вновь её как будто не было, исчезла — ни дыхания, ни шороха, только сердцебиение. Потом всхлип, жалобный, задыхающийся.

Она рассказала звездочету, как пошла на почту, а там, как на грех, санитарный день. Они с Артуром поехали на привокзальную площадь, но и там не повезло — перерыв на обед. Крутнулись туда-сюда, а тут уже и автобус подошел. Решила, что из села пошлёт. Но как приехала, так все и пошло кверху дном: мать приболела, корова оголодала, куры и ути не кормлены... пришлось срочно закупать комбикорма. Но пусть Митя не думает, она вернет долг, и очень даже скоро.

Соседка вытерла непрошенные слёзы и, встав, заглянула в лицо звездочёта. Что она там увидела — бог весть!

Лицо его было бледным и усталым: мысли отдыхали где-то вовне... Такие лица встречаются у спортсменов, особенно у футболистов, проигравших кубковый матч и бездумно валяющихся на газоне, — победа, она была так близка, так близка!.. Впрочем, даже такая реакция или рефлексия оказалась бы для звездочета слишком сложной. В душе у него не было ничего. Он не знал, да и не хотел знать, что соседка имела в виду. Он уже решил, что спросит её, мол, а она сама на его месте обиделась бы или нет?.. И спросил, оголоушил, продолжая смотреть в потолок.

Соседка вначале задумалась, а потом тихо стала сползать с «полатей».

— Я, пожалуй, пойду.

Она вдруг вспомнила, что сегодня едет к матери за Артуром и ещё нужно собраться — если все получится, как она планирует, то вернётся к Рождеству, а если нет, тогда придется задержаться.

Соседка полагала, что звездочёт обязательно среагирует на её информацию — всё-таки теперь они не чужие. Однако он как лежал, так и продолжал лежать, даже не пошевелился. Единственное — глаза прикрыл, словно бы впал в забытие. Что в данной ситуации он мог уснуть — она не могла поверить...

Опустив ноги в шлепанцы, она медлила уходить, ей казалось, что вот сейчас, в следующую минуту, он сменит гнев на милость и тогда она побудет с ним ещё — время позволяло.

Соседка ошибалась, все её выводы и предположения не имели никакого отношения к звездочёту. И это лучше всего и лучше всех понимал поэт Митя уже потому хотя бы, что он доподлинно знал, что звездочёт действительно уснул. Разумеется, с Митиной точки зрения, его поведение было крайне бесстыжим, наглым и не имело оправдания.

Когда соседка поняла, что ждать нечего, и направилась к двери, Митино терпение кончилось: он сбросил звездочёта, лишил его пьедестала, то есть представительского мундира.

— Погоди, Тома, какие могут быть обиды, если деньги ты потратила, чтобы помочь матери?! Ведь разницы нет — моя мать или твоя, все равно мать, понимаешь!

Соседка поняла только то, что хотела понять, а именно, что звездочёт признал — они теперь не чужие. Но всё же медлительность оставила неприятный осадок, она решила маленько проучить его, холодно сказала:

— Ладно уж, поговорим по приезде...

Мите пришлось употребить всё своё красноречие и смекалку, чтобы погасить в душе соседки обиду, вызванную равнодушным поведением звездочёта. Поначалу её обида как будто даже возросла от внезапно обрушившейся Митиной душевности, но потом, когда он предложил ей заглянуть в уют и взять оттуда пятьдесят рублей на дорожные расходы, соседка сдалась. Наверное, она уступила обычному женскому любопытству. Тем не менее живые деньги произвели на неё весьма выгодное для Мити впечатление, особенно новенькие купюры Двуносого.

— Ничего себе! — сказала она восхищённо. — Ты мог бы приодеться по самой последней моде, по самой последней!..

Она взяла пятьдесят рублей и почти неуловимым движением спрятала под лифчиком.

Звездочёт, всё это время как будто спавший, не подавал никакого намёка на своё присутствие. Но он не спал, он ждал благоприятного момента, чтобы вновь овладеть пьедесталом. Более того, он ни секунды не сомневался в успехе — пока соседка здесь, силы его удвоены и даже утроены, потому что, сим-

патизируя Мите, она на самом деле симпатизировала ему, звездочёту, — ведь это он обладал ею.

Так и вышло, стоило соседке в знак благодарности броситься к Мите, как он, закрыв глаза, сиганул с пьедестала. И тут уж во всей красе выступил звездочёт. Он бесстыдно отбросил простыню и, широко раскрыв объятия, на каждый её поцелуй отвечал двумя-тремя встречными. Он цвёл, он благоухал на пьедестале общего «я», словно узурпатор на троне. Он в удовольствии позволял себе насмехаться над безавшим поэтом Митей.

— Ну что, литературный работник, ты наконец понял, кому принадлежит настоящая власть над женщиной? Смотри и учись, как надо наслаждаться жизнью!.. Что, не нравится?! Тогда забейся в угол, занавесься юбками своей Дульсиной и сиди — не вылезай.

И Митя занавесился — и не вылезал. И вовсе не потому, что был согласен со своим визави, а потому, что происходящее между звездочётом и соседкой вызывало оторопь, разрушало все его представления о чести и достоинстве молодого человека, причём человека, как выразился Двуносий, с высшим гуманитарием.

— Митя, ты такой хороший, такой добрый, такой отзывчивый! — горячо шептала соседка в не менее горячих объятиях звездочёта. — А я, дура, рассердилась на тебя! Думала, что ты бесчувственный. Ах, дура я, дура! — сладостно целуя, шептала она.

— Нет, Тома, ты молодец! Ты своего не упустишь и, если надо, чужое подберешь! — вдруг как-то чересчур прямолинейно и некстати восхитился звездочёт.

Впрочем, ум как свойство сердечности, присущий поэту Мите, звездочёту был несвойствен.

— Тома, всегда и везде держи себя в центре, в фокусе — тебе хорошо, стало быть, всем хорошо. Лично я только из этого исхожу — и всё «хоккей»!

Соседку очень рассмешило внезапное заявление Мити. Получалось, что ему должно быть хорошо и от того, что она присвоит и эти его деньги. Но потом ей пришло в голову: если он влюбился в неё или, по крайней мере, проникся к ней какими-то родственными чувствами, то его заявление не так уж глупо. Наверное, поэтому с большей, чем прежде, страстью она ласкала и целовала его. А уходя, кокетливо заметила:

— Митенька, жди свою Томочку!

В ответ звездочёт, точно робот, закинул руки за голову и, прикрыв глаза, совершенно не к месту продекламировал:

— Тома, тебя ждут дома.

Соседка не знала, что и подумать.

— Ох и грубиян же ты, Митя... грубиян!

— Потому что от дурмана пьян, — опять в рифму и опять с оттенком оскорбительного самодовольства заметил звездочёт.

Его примитивная настроенность усматривать во всем только комплименты в свою пользу вдруг вывез-

ла её из себя настолько, что она даже не нашлась с ответом. Впрочем, слова были излишни — в энергичной твердости удаляющихся шагов ощущалось обещание достаточно скорого реванша.

## Глава 25

Соседка вернулась в сочельник. Она вернулась без Артура, но с огромным, туго перетянутым пакетом в руках и в весьма хорошем расположении духа. Все эти дни перед Рождеством она шила для Мити демисезонное пальто из великолепного темно-серого драпа и приехала с одной целью — преподнести его в качестве обещанного презента. Она рассчитывала на благодарность, на то, что Митя померит пальто в её присутствии и таким образом она возьмёт реванш.

Она ошиблась. Он даже не развернул пакет. И вообще был каким-то другим, ненастоящим — «мешком притюкнутым». Бухнулся перед ней на колени, каляя в каких-то немислимых грехах, умолял пощадить его высшую и разьединственную любовь к Розочке.

При чём тут высшая любовь?! При чём мольбы, стенания и прочее, прочее? Ей тоже разьединственно чего хотелось — чтобы он понял, что они квиты. Будет он примерять пальто или не будет — ей наплевать, главное, что она с ним в расчёте... Драп, подклад, нитки, пуговицы, если посчитать по нынешним расценкам, как раз потянут на ту сумму, что она задолжала. А ещё работа?! По своей обычной глупости он хотел опять отдать ей все деньги. Но она взяла всего тридцать рублей, и то только для того, чтобы подчеркнуть: что на что променял?! Всё выглядело жалким, униженным и отталкивающим. Она уехала обратно в тот же вечер без всякого сожаления. Ей не хотелось более ни думать о Мите, ни встречаться с ним. «Какой-то он совсем уж чокнутый, не зря от него жена ушла!» — подумалось ей тогда с каким-то особенным удовольствием, и она уже больше не вспоминала о нем.

Бросившаяся в глаза соседки притюкнутость и даже ненастоящность Мити на самом деле объяснялась как раз большей, чем прежде, его настоящностью. Все эти дни, воюя со звездочётом, ему удалось таки вновь одолеть последнего, сбросить его с пьедестала. Единственная беда — успех не принёс облегчения. Преобладание одного Я над другим не обеспечивало устойчивости мира, и Митя решил сходить в Георгиевскую церковь Юрьева монастыря.

Выбор объяснялся не тем, что Митя по отцу Юрьевич (хотя это его порадовало). Просто все эти дни местная печать денно и ночью оповещала горожан об историческом событии — передаче оног монастыря под юрисдикцию местной епархии, то есть верующим. Именно в связи с этим торжеством в Георгиевской церкви предстояло богослужение с крестным ходом, и Митя искренне верил, что покаяние в грехах и причащение Святых Тайн в стенах

столь древнего храма непременно восстановит его распавшееся «я», его подлинную личность.

Итак, захватив поутру пакет с пальто, который накануне преподнесла соседка, поэт Митя отправился в Юрьев монастырь, точнее, в сторону монастыря (по пути ещё предстояло заехать на крытый рынок и сдать пальто в комиссионку).

Затя с пальто была исключительной — поэту Мите хотелось освободиться от него как от вещественного напоминания об интимных связях с соседкой. Звездочёт, напротив, возражал: пальто служило наглядным свидетельством его недавних побед.

В общем, поэт Митя ехал в сторону Юрьева монастыря и, чтобы лишний раз не спорить со звездочётом, глазел на ранних пассажиров, спешно запрывигающих в автобус. Устремленно-деловитые, они запрывигивали обязательно с мешками на загривках или навьюченными через плечо. Присутствие какой-нибудь поклажи в руках было настолько естественным, что редкие люди без неё казались прямо-таки подозрительными субъектами. Все от них настороженно отодвигались, бдительно загораживали свои мешки. Митя тоже отодвинулся, прикрыл свой объемистый пакет полосатым краем крылатки. И сразу, словно на условный пароль, отозвалась сухопарая женщина в жёлтой собачьей шапке, претендующей на лису.

— Сзади вас какой-то криминальный тип!.. Ха-ха, мы старые знакомые, я беседую с вами на отвлеченную тему, не оглядывайтесь, смотрите прямо перед собой! — наклонившись, потребовала полусшепотом обладательница желтой шапки. — Так ты говоришь, что пил пол-полу, а мне показалось — что-то более крепкое?! Ха-ха!..

Она изобразила смех и, пододвигая к себе туго набитые сумки, так натурально закатила глаза под лоб, что Митя невольно испугался: ей стало плохо!.. Впрочем, закатывание глаз только как бы относилось к крепости напитка, а на самом деле указывало на какие-то предосудительные действия криминального типа, обосновавшегося в некотором отдалении от Мити.

— Не волнуйтесь, я слежу за ним, — как бы отвлеченно известила сухопарая женщина и голосом, не допускающим возражений, приказала положить пакет на её пузатые сумки.

— У вас сбоку тоже... какой-то субъект с газетой, возможно, вор-рецидивист?! Хо-хо, мы старые знакомые, вы следите за моим типом, а я за вашим субъектом, — нарочно заедая слова в скороговорке, сообщил поэт Митя, пристраивая пакет, и уже для всех, умеющих слушать и слышать: — Если бы пил что-то крепкое, наверное, ещё дрыхнул бы?!

Шапка, претендующая на лису, восторженно подпрыгнула, и поэт Митя предстал ей не просто случайным знакомым, а идейным единомышленником.

Из автобуса они вышли вместе. Поэт Митя помог сухопарой женщине дотащить её узлы до рынка, а она в качестве компенсации взялась продать его пальто. Она довольно удачно продала — за триста семьдесят рублей, так что поэт Митя не только вернул деньги, отданные соседке, но и несколько приумножил их. Впрочем, это случилось после посещения монастыря, а тогда, отдав пальто на продажу, он вновь вернулся на автобусную остановку и поехал в храм.

Удивительное место Юрьев монастырь. Именно здесь, сразу за его южной стеной, располагалась гостиница турбазы, в которой они, Митя и Розочка, провели свои лучшие три дня. (Сам монастырь был, конечно, в страшном запустении. Тогда на его территории хранили уголь для городского коммунального хозяйства и разбитые сельхозмашины. А в монастырских кельях и трапезной располагалось СПТУ.)

Теперь монастырь был совсем другим: и снег, и снежная изморозь на каменных стенах, и вход в монастырь со стороны седого Волхова, и множество прибывающего и прибывающего народа, толпящегося у трапезной (именно там епископ торжественно принимал из рук областной администрации храм), — все обнаруживало прежде скрытое от глаз приподнято-праздничное величие монастыря. Как это ни странно, но на фоне верующих поэт Митя не только не выделялся, а, напротив, своим присутствием привносил в этот фон какую-то высшую гармонию. Во всяком случае, стоило Мите появиться в толпе верующих, как он тут же перестал чувствовать свою тройственность. Все его Я вдруг слились в одно, обычное, пишущееся с маленькой буквы. Это было так внезапно и так естественно, что он даже не заметил, что послужило поводом... и вообще, зачем он пришёл в храм?

Я — есть я. И это я — Дмитрий Юрьевич Слёзкин.

В сонме старушек я наклонился к одной из них (чтобы расспросить о плане предстоящих мероприятий) и сразу же был окружён ими.

— Сынок, а ты откуда?.. Чей будешь?.. Никак, ты птичек торгуешь возле Витославицы?..

Седенькие, с ясными доверчивыми глазами, они произвели на меня такое сильное впечатление, как будто я вдруг оказался на каких-то райских покрывалах, а не среди зимы.

— Нет, я — поэт Митя, — сказал и не почувствовал, как прежде бывало, угрызений совести. Я действительно сказал именно то, что как бы печатью легало на сердце.

Старушки каким-то всеобщим оком аккуратно оглядели меня и согласились: да, поэт Митя, и взяли надо мной опеку. Перед крестным ходом попросили облачиться в стихарь и вручили хоругвь с изображением Божией Матери.

В тот день я был в старых, со стёртыми каблучками полуботинках и белых носках (туфли унесли

субъекты в малахаях, а финские полусапожки приберегал для настоящих холодов; что касается носков, то других просто не нашлось). Золотой атлас стихаря и разбитые бахилы не очень-то сочетались, но старушки единогласно решили, что я «в ентмо одеянии как ангель».

В Георгиевском храме, просторном и тёмном (большинство оконных проёмов и дверей было закрыто огромными тесовыми щитами, как раз на время проведения службы), я опять с помощью старушек облачился в своё прежнее одеяние и чувствовал себя вполне великолепно, пока не началось целование иконы Георгия Победоносца. Тут произошла неувязка, невольная толкотня оттеснила меня в людской поток, выливающийся из храма, и я, чтобы протолкнуться к иконе, вынужден был довольно-таки чувствительно поработать локтями.

Целование иконы всегда представлялось мне высшим актом, тем более что здесь, в мерцающем свете свечей, я явственно видел, как лик Божией Матери, изображенной на хоругви, полностью повернулся ко мне и она, Божия Мать, словно бы моя родная матушка, перекрестила меня. Её внезапное благословение преобразило действительность. Мне втемяшилось, что Георгий Победоносец как-то отзовётся на мое целование. Словом, с помощью острых локтей я пробился к иконе и на радостях стал до того упиваться её лобзаниями, что многие вокруг забеспокоились: кто это?! А когда я бухнулся на колени, перед тем как поцеловать крест в руках епископа, они и вовсе пришли в смятение.

— Это Митя, наш поэт Митя!.. — вступились за меня старушки.

Я приподнял чело и увидел чуть в стороне от священнослужителей ряд чёрных самодовольных туфель. Отбитые от брючин белыми носками, они словно бы принохивались...

— Это Митя, наш Митя, — вновь услышал над головой. — Он — поэт!

Меня не представляли окружающим, а просили снисхождения ко мне как бы к юродивому. Ужасное чувство.

Я поднялся с колен. Главы областной, городской, районной администраций со своими приближёнными были в полном сборе. Во всяком случае, в этом десятке высших лиц, оснащённых, скажем так, белыми носками, я увидел своего бывшего редактора. Да-да, это он стоял в лакированной самодовольной цепочке чёрных туфель и смокингов, белых манжет и носков, и, наверное, воротничков. Впрочем, воротничков я не заметил потому, что, гордо вскинув голову и подхватив левой рукой крылатку, будто патриций тогу, удалился, ни на кого не глядя. Без сомнения, во всём этом было нечто комичное — подняв крылатку, я крикливо обнажил свои белые носки. Разумеется, я и не думал об аналогии между собою и нынешней властью. И всё же возле автобусной остановки «Витославицы» меня обогнала чёр-

ная «Волга», которая, резко притормозив, остановилась.

— Митя!.. Владелец премиальных носков, шагом ать!

Бывший редактор областной молодёжной газеты явно пребывал в хорошем настроении. Он сидел на сиденье развалившись и буквально цвёл и пахнул. На фоне белого кашне, манжет, выглядывающих из-под чёрного драпового пальто, он казался каким-то преувеличенно-изысканным, прямо-таки помесь лорда с джентльменом из КВН. Речь его тоже была другой, более раскованной (отсутствовали партийные рамки-ограничители), он отпускал такие шуточки, что просто уши вяли. В бытность редактором молодёжной газеты он подобного себе не позволял.

— Митя! Поэт Митяй, больше носки белые не надевай!..

Вначале я даже подумал, что он пьяный, — нет, просто он был в превосходном расположении духа. Обещал, что со дня на день начнёт выходить новая областная газета, совершенно демократическая, в которой он опять станет главным редактором. Я засомневался, сказал, что не может быть. В том смысле, что прежде на эту номенклатурную должность в главной газете области назначали непременно кандидата в члены бюро обкома КПСС, а не комсомола.

— Эх ты, поэт Митяйка, отстал от жизни! Только и осталось в тебе... что белые носки.

Бывший редактор вначале обиделся, но, увидев, что в моём сомнении нет ничего, кроме удивления, спросил: знаю ли я, кто глава администрации области? И тут же, очевидно не надеясь, что правильно ориентируюсь, пояснил:

— По прежним меркам он — чин, соответствующий первому секретарю обкома партии. Помнишь усатика в синем костюме, всё кефир пил?.. Кстати, именно с ним я стоял в храме.

Наклонившись, шепнул на ухо:

— Мы с ним закадычные друзья.

Редактор похлопал меня по плечу и пригласил работать в новой газете заведующим отделом писем.

— Только, Митяйка, тогу патриция придется сменить на какое-нибудь более штатское, более рядовое одеяние.

Я, конечно, сразу понял, откуда что идёт. Однако новая манера редактора раз за разом, к месту и не к месту, называть меня Митяйкой была до того глупой, до того раздражала, что я отказался. Сказал, что соглашусь работать только заведующим литературным объединением при газете.

— Митяйка, ты ещё ставишь условия?!

Ну, это уже было выше моих сил!.. Я похлопал водителя по плечу — попросил остановиться (мы как раз проезжали мимо нового рынка).

Получив деньги за пальто, я отоварился (свертки лежали в капюшоне) и уже уходил с базара, когда увидел на ящике, возле железных ворот, портатив-



ную пишущую машинку «Эрика». Всю жизнь мечтал иметь такую: с прекрасным шрифтом, с необходимыми для издательства интервалами, с очень удобной кареткой и весьма мелодичным звончком. Если бы не встреча с редактором, я бы не стал покупать, оставил бы «на потом». А тут подумалось о коллективном сборнике — машинка понадобится для подготовки рукописи. В общем, пока я пробовал машинку, женщина-продавец (в сером пуховом платке и валенках — явно бывшая машинистка) смотрела на меня с каким-то изумлённым сочувствием, словно на марсианина. Её удивляла и настораживала крылатка, но ещё больше — мое профессиональное владение машинкой. Я отстучал на листе, вставленном в каретку: «Машинка замечательная, но, наверное, дорогая?»

— Она стоит триста девяносто рублей, — сказала женщина и тут же, хотя вокруг никого не было, шепнула, что отдаст её за двести пятьдесят.

Наученный финскими полусапожками, я не стал торговаться. Отдал деньги, захлопнул футляр-чемоданчик и, как говорится, был таков. Кстати, пока шёл на автобусную остановку (и в самом автобусе, и после), чёрный чемоданчик с никелированными замками-зажимами придавал мне необычайную уверенность в себе. Я чувствовал, что отныне Поэт-Летописец — это не прозвище, это моя миссия земной жизни, не выполнив которую нельзя надеяться на встречу с Розочкой.

## Глава 26

Январь пролетел незаметно. С утра до вечера я правил и перепечатывал свои и чужие произведения. Единственное, что докучало, — хождения в магазин за хлебом и молоком. Впрочем, и здесь я приспособился: устроил в окне между рамами своеобразный холодильник и отоваривался один раз в неделю.

Все у меня шло гладко. Я подготовил объёмистую рукопись своего сборника стихов. Кое-что отредактировал «из залежей» для коллективного сборника и уже потирал руки в предвкушении близящегося весеннего наступления на издательства, когда вдруг узнал, что в нашем продуктовом магазине отпущены цены на все продукты, включая хлеб, молоко и сахар.

Впрочем, я знал обо всём этом загодя (слухи муссировались на кухне), но не среагировал. То есть не побежал с мешком по магазинам, как это сделали в большинстве жильцы нашего общежития. Я подумал: авось как-нибудь обойдется.

Не обошлось. Как сейчас помню, закончил перепечатку «оратории» (до сих пор удивляюсь, что побудило меня на сей подвиг). Встал из-за стола, потянулся, оглядывая пространство холодильника между рамами, — увы, пусто. А за окном темень, но соседний дом, точно новогодняя ёлка, весь в огнях, веселых, радужно искрящихся (так показалось сквозь за-

мёрзшие окна). Посмотрел на часы — двадцать один с небольшим... Оторвал вчерашний листик календаря: ба, февраль, первое!.. День рождения президента России, не мешало бы и отметить!..

Никогда я не считал себя революционным демократом и ныне не считаю себя таковым. Ломать — не строить. А расплывать государственные земли — во все не то, что собирать их. Единственное, что пленяло меня в новом президенте, — его отвага. Так уйти из КПСС, как он ушёл, всенародно хлопнув дверью, для этого нужно было иметь отважное сердце. Как когда-то я был влюблён в политика Горбачёва, теперь был влюблён в политика Ельцина. Во время политических споров, которые не обходят стороной ни одного русского, мне доставляло особое удовольствие вдруг заявить в лицо спорщикам: мой президент сказал!.. Что он сказал, на самом деле для меня не имело никакого значения потому, что главным было — мой президент! Мы с ним были не то чтобы из одного литобъединения, нет-нет, из одного общежития. И естественно, я был убеждён, что мой президент лучше меня знает, что мне в жизни нужно. Поэтому выдвижение им в премьеры Егора Гайдара, внука известного писателя, я воспринял как откровение: однако каков мой президент — выдвинул в премьеры Гайдара, «Всадника, скачущего впереди!» О том, что «Егор Хайдар» таит в своем прямом переводе всего лишь прямой вопрос: «Куда едет Егор?» — в голову не приходило.

Оторвав вчерашний листок календаря и обнаружив, что на исходе день рождения Бориса Николаевича, я по привычке, именно по привычке, без всякого на то умысла, подивился: однако каков мой президент?! И на этом, пожалуй, все бы закончилось, если бы не перепечатка уже известной «оратории», в которой после дуэта «Андропов и Черненко» не фигурировал дуэт «Горбачёв и Ельцин». Кстати, мой соавтор, Инкогнито, настоятельно просил меня присмотреться к Борису Николаевичу, так как, по его мнению, он, Борис Николаевич, ещё исторически не состоялся (ещё не умер).

Меня очень развеселила просьба соавтора, и прежде всего потому, что прочёл её не раньше и не позже, а точно в день рождения Ельцина.

— Обязательно прослежу!.. — пообещал я вслух и заторопился.

Заторопился не потому, что до закрытия магазина оставалось сорок минут (мне хватило бы двадцати). Просто вдруг, как-то очень по-домашнему, представил, что где-то там, в недостижимой теперь Москве, собрались на праздничный ужин домочадцы президента, налили по рюмочке и уже тост произнесли во славу... И до того мне захотелось вместе с ними «причаститься» и тем самым хотя бы на эту минуту приблизиться к месту нахождения Розочки, что я заспешил, заторопился.

Пока устремлённо сбегал по лестнице, а затем совершал пробежку к дежурному магазину, чувствовал

себя Гайдаром, то есть всадником, скачущим впереди. Иллюзии скачки вначале способствовала лестница, а потом и скорость устремления — крылатка летела сзади, точно черкесская бурка.

В магазине, не сбавляя шага, направился в самый дальний угол: хлебный и молочный отделы. Продавщицы при моём приближении удивлённо вырастали за пустыми прилавками, а одна, наоборот, присела:

— Господи, а это что за чудо-юдо?!

Её притворный испуг заставил меня замедлиться и оглядеться по сторонам. Магазин был пуст, пуст, как бубен! На витринах не было даже обычной ставриды в томатном соусе, ничего — шаром покати! Я словно бы зашёл в какой-то другой, не наш магазин. И даже не магазин, а какое-то складское помещение — угнетало полнейшее отсутствие покупателей. Мои шаркающие шаги, множась, то опережали меня, а то вдруг глохли и исчезали, будто я ступал по войлоку. Но самое сильное потрясение я испытал в хлебном... двадцать рублей — буханка! И это без всяких, как прежде бывало, обещаний улучшить качество выпечки. То же самое и в молочном отделе: пятнадцать рублей полулитровый пакет... За четыре булочки и два литра молока отдал сто сорок рублей, то есть пятую часть всех своих наличных!..

Домой возвращался архимедленно, никак не мог сосчитать, на сколько дней хватит оставшихся денег. Получалось, что в лучшем случае — на полмесяца. Это казалось неправдоподобным, в это не верилось, это не укладывалось в голове, — шоковая терапия?! Я действительно был шокирован, а потому опять и опять, снова и снова начинал считать. Ни о каком глотке спиртного во славу президента не могло быть и речи. Я впервые не мог решить: Егор Гайдар, кто он? Всадник, скачущий впереди, или наше испуганное вопрошание: куда едет Егор? А вместе с ним — куда едем мы?! (Об издании коллективного сборника за свой счёт не могло быть и речи.)

Моих наличных до пятнадцатого не хватило. Зашел в церковь Бориса и Глеба на Волхове, шло празднование Собора вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, — и до того уютно стало моей душе, что незнакомо отчего прослезился, глядя на икону Богородицы. До того глубоко входили в меня мерцание лампадок под образами, отблеск свечей на детско-старческих лицах и, конечно, хор ангельских голосов под куполом: «Величай, душе моя, Честнейшую небесных воинств Деву, Пречистую Богородицу». Несколько раз подходили ко мне служители храма с подносом для воздаяния, и я, не глядя, вынимал из-под крылатки купюры и с восторгом клал их на примятую горочку. Восторг охватил меня, когда я услышал припев «Величай, душе моя...». Я воспринял его как благое указание величать не только и даже не столько Богородицу, сколько в её образе Честней-

шую небесных воинств Деву — мою Розочку. Понимаю, что здесь какая-то мешанина, может быть, и греховная, но именно потому с восторгом вынимал свои купюры из-под крылатки и потом ещё всякий раз протискивался между людьми так, чтобы встать на пути подноса. Мне представлялось, что эти деньги каким-то образом помогут Розочке. Что где-то в каких-то высших сферах, недостижимых для человеческого разума, наш Господь Бог Вседержитель увидит их и зачтёт Розочке во спасение, а через неё и я буду спасён.

Мне было до того хорошо, что я полностью отстоял богослужение, хотя зашёл в церковь совсем по другому случаю — убивал время. Раньше, чем нужно, пришел в магазин на Черемной (распространился слух, что цены в нем самые низкие в городе) и решил: подожду в церкви, пока магазин откроется. Словом, отстоял богослужение по полной программе и из одной крайности попал в другую — магазин закрыли на обед. Вначале расстроился, но, когда исследовал свои карманы, даже обрадовался: в них не было ни копейки.

Домой в общежитие добирался и на рейсовом автобусе, и шел пешком. И всюду натыкался на сочувствующие взгляды — на меня смотрели как на больного. А виною была крылатка, действительно шоковая, я ею шокировал... Удивительное дело, и прежде она была на мне, и прежде я разъезжал в ней в автобусе и прогуливался, как говорится, по значным местам, но никогда прежде никто мне не сочувствовал. Да, обращали внимание на оригинальность одеяния, но чтобы сочувствовать — никогда! Все вокруг как будто догадывались, что деньги у меня есть, что мое одеяние — всего лишь причуда. Ну в крылатке. Ну из байкового одеяла. Но разве от этого кому-нибудь жарко, или холодно, или опасно для жизни?! А тут всех словно бы подменили — в каждом взгляде сочувствие и боль. Некоторые сердобольные женщины, поглядывая на меня, горестно вздыхали. А одна очень большая и толстая (строительный бушлат казался на ней распашонкой), кивнув в мою сторону, вдруг крикнула на весь автобус:

— Вот оно, наше горе!..

Не знаю уж, сколько веса было в этой могучей женщине, в её солдатских сапогах и грязного цвета брезентовой юбке, но, когда, перехватываясь за поручни, она стала подвигаться ко мне, я испугался. И сам ни с того ни с сего что-то закричал и воинственно стал подступать к ней. Наверное, со стороны я был похож на рассерженного стервятника. Во всяком случае, люди отхлынули от меня, и я, поднырнув под руки толстой женщины, оказался у двери.

— Смотрите, смотрите — жертва!.. — опять закричала она.

Впрочем, её крик уже не трогал меня, автобус остановился, и я, не мешкая, спрыгнул на тротуар.

— Смотрите, жертва, насильничья жертва! — вновь, как бы наотмашь, хлестнула она по спине

(кто-то услужливо открыл окно, помог глупой женщине высунуться прямо на улицу).

Я резко свернул за киоск и немного подождал, пока автобус отойдёт. Потом пошел по пустырю мимо строящегося здания местного телевидения (ходить через ямы и котлованы было мало желающих). В последнее время, пусть ненароком, меня довольно-таки часто оскорбляли, и я даже обрадовался, что деньги кончились, теперь придётся реже появляться на улице.

В феврале я очень много работал и понял, что работа — это крепость, которая помогает одолеть любые невзгоды. Чтобы днём лишний раз не появляться на улице, я писал стихи и пьесы ночью, а днём отсыпался. Такой распорядок выполнял неукоснительно. Мне очень нравился этот распорядок, пока наконец не начались галлюцинации, которые, кстати сказать, поначалу забавляли. Да-да, засмотришься на столешницу, и вдруг из её недр, словно на скатерти-самобранке, являются взору большие тарелки с горячими блюдами. Тут тебе и домашние ши, и дымящаяся в томатном соусе баранина с листочками сочной зелёной петрушки, и, конечно, кофе со сливками. Но самой лучшей частью моих галлюцинаций всегда была свадьба, наша с Розочкой. Да-да, это были самые восхитительные минуты. Впрочем, обо всем этом вы уже знаете, и, чтобы не повторяться, поясню лишь некоторые тонкости.

Итак, на Сретение я подмёл все хлебные крошки, все крупинки и все чайники. В комнате не было ничего съестного, даже запахов их бывшего присутствия не было. В общем — ничего, кроме стеклянных банок, наполненных слабосоленой водой (рингеровским раствором собственного приготовления). Без ложной скромности скажу, что опыт голоданий меня многому научил, и я расходовал свои силы исключительно экономно. Ровно две недели, то есть до конца февраля (надеюсь, читатель помнит, что 1992 год был годом високосным), я пребывал в исключительно превосходном расположении духа. За ночь писал по несколько стихотворений или одно действие пьесы, а если брался за перепечатку своих произведений, то обычной моей нормой было пятьдесят страниц. Фантастическая работоспособность прерывалась только галлюцинациями, которые, кстати, разнообразили мою жизнь. Я даже к ним подготавливался (но и об этом я уже рассказал в начале повествования).

Словом, весь февраль и начало марта меня не покидало превосходное настроение. Но где-то с шестого на седьмое, а потом с седьмого на восьмое и так далее меня стал преследовать словно бы злой рок. Только я вообразу себя знатным англичанином, уже и инкрустированные часы на цепочке, украшенной бриллиантами, достану, и вдруг все комкалось; вместо нашей с Розочкой свадьбы — десять подносов на моем столе, и на каждом вплотную по пять больших

тарелок дымящейся баранины в томатном соусе, баранины, посыпанной листочками сочной зелёной петрушки. Впрочем, что особенного в баранине, посыпанной петрушкой? Вот никелированные шарики — это да-а!

Дело в том, что в детстве, когда я уже был большим, мне довелось проглотить довольно-таки увесистый металлический шарик. Как сейчас помню, стою возле маминой кровати и двумя руками откручиваю его от одного из прутьев спинки. Шарик был не очень большим, но очень тяжёлым. Потом, когда я уже учился в десятом классе, узнал, что все шарики на кровати отец залил свинцом, чтобы они не откручивались. Но один из них я все-таки открутил. Открутил, стою, рассматриваю и вдруг слышу, мама в сенях звякнула ведром — подоила корову. Я быстренько шарик в рот, продолжаю стоять. А он, шарик, как-то очень легко перемещается во рту и клацает о зубы, да так громко — я замер. Мама вошла: что делаешь? Говорю: ничего. И как-то ненароком зацепил шарик, он с языка бульк в пищевод, холодненький покатился прямо в желудок. Я даже тяжесть ощутил: как будто пообедал и наелся. Я потом долго никакой твердой пищи не употреблял, пил молоко и воду. Мама всё удивлялась и даже беспокоилась: почему я ничего не ем?! Я думаю, что именно тогда поджелудочная... стала реагировать на вес твёрдой пищи. Естественно, что после голоданий эта реакция обострялась и я просто вынужден был следить не столько за калориями и протеинами в рационе, сколько за весом грубого продукта.

Девятого марта я проснулся от нестерпимого желания поесть. В какую сторону ни посмотрю — раскачиваясь с боку на бок, мягко парашютируют длинные серебряные тарелки с дымящейся бараниной, приправленной листочками зелёной петрушки. Сидя на постели, я попытался одну из пролетающих тарелок поймать, не тут-то было, мои пальцы прошли сквозь баранину.

— Галлюцинация, мираж, — сказал я вслух потому, что галлюцинации начинались без моей на то воли, так сказать, спонтанно.

Прикрыв глаза рукой, я слез с кровати и на ощупь нашёл на подоконнике банку с рингеровским раствором. Я пил, не открывая глаз, а когда открыл — мираж исчез. Однако есть захотелось с ещё большей силой. В Евангелии от Матфея сказано, что Иисус был возведён Духом в пустыню для искушения от диавола и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал, то есть ощутил голод. В отличие от Иисуса, я постился двадцать дней и двадцать ночей и взалкал девятого марта, как раз в первый день Великого поста.

Желание поесть было настолько сильным, что мне стоило волевого усилия подавить соблазн и не похитить на общественной кухне чью-нибудь кастрюльку с недоварившейся кашей.

«Никогда, ни в коем случае!» — мысленно приказал себе и стал быстро одеваться. Решение идти к Двуносому созрело мгновенно. В своё время за моё четверостишие, воспевающее жизненный потенциал «Свинячьей лужи», он обещал обеспечивать меня бесплатным пивом — пришло время удостовериться. Уже выходя, взял папку со стихами, вспомнился наказ Розочки — не стесняться продавать свои произведения (она называла их «нетленками»).

## Глава 27

Когда я спросил пассажиров, где мне выйти, чтобы оказаться поближе к строящемуся кинотеатру, многие в автобусе посмотрели на меня с нескрываемой подозрительностью, а некоторые рассеянно и отвлечённо, так, словно бы не услышали вопроса. В некотором смысле это был глас вопиющего... Мне никто не ответил. Тогда на замёрзшем стекле я продышал пятнышко и, не отрываясь, следил за проплывающими домами, стараясь угадать, где мы. (Шофёр не только не объявлял остановки, но и забывал на них останавливаться, так что выходящие стучали ему в окошечко.) Во всём чувствовалось какое-то всеобщее неуважение, беспредел — шофёр не объявлял остановки, но и не требовал платы за проезд. Да и что требовать? Пять копеек?! Смехотворная цена, в ежедневном безудержном росте цен почти равная нулю. Разумеется, все ехали без билетов, а если едешь без билета — ни на какой сервис не рассчитываешь, точнее, рассчитываешь на соответствующий. Впрочем, за два месяца творческой работы или (что одно и то же) добровольного домашнего заточения я до того отстал от жизни, что пришел в ужас, когда на очередной стук в окошко водитель нагло сообщил, что на остановке «По требованию» он лично никогда не останавливается, и в довершение через микрофон так грязно обругал пассажира (пожилого человека), что я не выдержал, протиснулся к окошку и возмущенно закричал:

— Я требую сатисфакции, вы оскорбили не одного пассажира, вы оскорбили всех! Я требую!..

Автобус резко затормозил, я едва удержался за поручни. Водитель заглушил мотор и, не глядя в мою сторону, открыл двери и объявил, что никуда не поедет (с места не сдвинется), пока дебошир, то есть я, не покинет салон.

Всякому из нас приходилось слышать анекдоты из серии «сверхнаглость» — это был один из них. Однако мне было не до смеха. Возмущённый, я окинул взглядом пассажиров, мол, посмотрите, каков нахал?! Я ждал поддержки, более того, весь опыт моей жизни подсказывал, что в данной ситуации она, поддержка, просто неизбежна, я, так сказать, обречён на неё. Увы! В ответ большинство пассажиров даже не посмотрели на меня, а те, что посмотрели, — с нескрываемым раздражением, словно не водитель оскорбил их, а я.

— Граждане, если мы это так оставим, он вообще решит, что ему все позволено, — сказал я как можно спокойнее.

— Слушай, байковый балдахон, тебе же ясно сказано: катись из автобуса, из-за тебя ни в чём не виноватые люди страдают.

Сзади меня прогремел такой звучный, подсыпывающий бас, что отставшие на швах дюралевые планки вдруг в тон ему отозвались каким-то согласованным подсыпыванием.

— Из-за меня?! — неискренне повеселев, удивился я.

— Из-за тебя, — твёрдо сказал владелец подсыпывающего баса и чуть-чуть привстал с кресла.

Никогда прежде я не видел столь чёрных и столь волосатых людей. Какое-то зомбированное существо с озлобленно-мутным взглядом. Не знаю и предсказывать не берусь, что могло бы произойти, если бы не пожилой пассажир, за которого я вступился.

— Пойдемте, нам лучше всего выйти здесь, — сказал он, мягко взяв меня за руку.

Мы шли по наезженной дороге через гаражи, и мужчина в годах объяснял мне, что строящийся кинотеатр давно построен и давно пущен в эксплуатацию, только не как кинотеатр, а — казино.

— С вечера съезжаются туда иномарки — лакировка, комфорт, СКВ — свободно конвертируемая валюта! Простому человеку... — Он сделал паузу. — Как вас звать-величать, молодой человек?

— Дмитрием, Дмитрием Юрьевичем.

— Значит, Митей, — удовлетворенно кивнув, сказал человек в годах и спросил меня, не сочту ли я за фамильярность, если он будет называть меня столь по-свойски.

— Не сочту, — буркнул я, мне показалось пижонством беспокоиться о фамильярности после вопиющей наглости, с которой сейчас столкнулись.

Между тем мужчиной в годах продолжал:

— Простому человеку, такому, как вы, Митя, дорога туда заказана, не пустят вас и на порог, потому что все там в костюмах с искоркой и при очень и очень больших деньгах. И что удивительно... — Человек в годах приостановился и как будто позабыл обо мне, посмотрел на низкое белое солнце, уже хватающееся за крыши гаражей, снял нутриевую шапку и, стряхивая снежную пыльцу, мечтательно воскликнул: — Откуда, откуда у двадцатилетних пареньков пачки, пачки таких крупных денег?!

— Вы, наверное, учитель средней школы, преподавали математику, а сейчас на пенсии?

Учитель усмехнулся. Надевая шапку, сказал:

— А вы, однако, физиономист, стопроцентное попадание!

— Интересно, кто они, эти пареньки с пачками денег?

Он опять усмехнулся.

— Их называют «новыми русскими». В том смысле, что у старых практически было всё: работа, обра-

зование, уважение к коллеге, к старшему... Единственное, чего у нас не было, — денег. А у этих — наоборот: ни уважения, ни образования, а денег — полные карманы!

Вот это вот: а денег — полные карманы! — как мне показалось, он произнес со знакомым уже мечтательным восхищением.

— Но ведь кто-то же попустил этим паренькам, чтобы и машины, и деньги... Значит, эти «кто-то» ещё новее самых «новых русских»?

— Вы что же, на власть намекаете? — как-то очень осторожно осведомился он.

— Да, на власть предерживающую, — сказал я. — А потом, «новым русским» разве не может быть какой-нибудь пожилой мужчина, у которого нет совести, а денег навалом? Или таких не бывает?

Не знаю, почему вдруг я вступился за молоденьких пареньков, этих «новых русских», но сказал буквально следующее:

— Перед нами три гражданина: крупный чиновник, какой-нибудь мужчина в годах и, как вы говорите, двадцатилетний паренек. У всех у них куча денег, все они бессовестные, а теперь вопрос: кто из них самый бессовестный? Неужто двадцатилетний паренек?!

Мужчина в годах, вот только что ещё мягкий и интеллигентный, вдруг подобрался и как-то весь торчком вверх наострил. (Наверное, тут виною нутриевый мех — как ни зализан и гладок, а на крайках шапки щетинисто топорщился, особенно на верхней, лобной её части.)

— Однако, Дмитрий Юрьевич, вы даже более конфликтны, чем можно себе представить. Надеюсь, я правильно сказал — Дмитрий Юрьевич?

— Да-да... Юрьевич, — согласился я.

Мужчина в годах, ссылаясь на себя и себе подобных, знающих жизнь не понаслышке, произнёс прямо-таки речь, из которой явствовало, что в автобусе мне не нужно было встречать в перепалку с водителем. Дескать, все мы, люмпен-пролетарии, неуязвимы при любых революциях и режимах, потому что по большому счету нам, люмпенам, нечего терять. У нас нет ни национальности, ни земли, ни денег, ничего у нас нет. Раньше считалось, что только деклассированные элементы (преступники, босьяки, бродяги, нищие) могут быть люмпенами. Однако сегодняшняя жизнь показала — есть люмпен-студенты, люмпен-интеллигенты и люмпен-рабочие. И иначе и не могло быть. За годы Советской власти наши правители только и следили, чтобы ни у кого ничего не было, то есть было в урезанном виде, некий прожиточный минимум.

— Но ведь это же страшно, — сказал я. — Страшно, если мы — люмпены.

Я остановился, но заметил это, только когда остановился и мужчина в годах. Он смотрел на белое солнце над гаражами.

— Почему страшно? Если у тебя нет ничего, и у меня — ничего, и у него — шаром покати, мы — бра-

тья, и естественно, что братья только по разуму, как инопланетные существа. И, как у инопланетных, у нас в цене прежде всего общечеловеческие ценности. А общечеловеческое всегда выше общенационального.

— Пойдите, пойдите, — сказал я, и мы пошли дальше. — Вы говорите «братья по разуму», а что, если у нас не хватит разума, чтобы быть братьями? Видели того черного и волосатого?! О каком разуме и общечеловеческих ценностях можно толковать с ним, когда ему нужна была сиюминутная выгода — чтобы мы ехали, и всё. А зачем, для чего, на каком основании, это ему неинтересно, он об этом и знать ничего не хочет.

— А может, на сиюминутном и надо строить какую-то увлекающую разум культуру? Авангардистское искусство — это ведь отзвон на сиюминутное время, а из сиюминутного времени, из его отрезочков состоит вся наша жизнь. И не только наша, жизнь целых цивилизаций состоит из суммы временных отрезков.

— Позвольте, позвольте, — сказал я, и мы опять остановились. — Я много думал об этом и пришёл к выводу, что на сиюминутном только и можно, что построить сиюминутное. Но именно жажда сиюминутного порождает наркотики и наркоманов, и не только в медицине. Всё это искусство, идущее от сиюминутного, я иначе и не называю, как наркоманией. А теперь скажите: если мы братья по разуму, опьянённые наркотиками, насколько глубоко и крепко наше братство?

— Так вот вы уже где, — сказал мужчина в годах, и мы опять пошли.

Мы пошли, а мне как-то вдруг нехорошо стало. Вспомнилось булгаковское: никогда не разговаривайте с неизвестными. Присмотрелся к его лицу — из ноздрей торчмя волос, щетинистый, точь-в-точь нутриевый.

— А вы, собственно, кто будете? Я вам сказал, и вы должны сказать — как вас звать-величать?

Мужчина в годах опять усмехнулся:

— Что, вспомнилось булгаковское: никогда не разговаривайте с неизвестными?

Я обомлел. К тому же мне казалось, что на нём пальто из темно-серого ворсистого драпа. Ничего подобного, то есть действительно ворсистого, но не драпа и не тёмно-серого, а плюша, буровато-мышинного, облегающего руки и плечи настолько плотно, что теперь пальто показалось мне комбинезоном, заправленным в голубоватые полусапожки на такой толстой подошве и высоких каблуках, что они выглядели своеобразными копытами.

«Дьявол, самый настоящий», — с ужасом подумал я.

— Ну уж?! Что за манера, чисто русская, уже тебе и самолеты, и спутники, и орбитальная станция, и выход в космос, а чуть встретится человек самостоятельно мыслящий — дьявол!

«Резонно, резонно, самостоятельно мыслящие люди действительно всегда пугают...»

— Предлагаю сменить тему, — сказал мужчина в годах и остановился возле сугроба (наезженная дорога резко сворачивала влево, а натоптанная тропка, обогнув сугроб, продолжала бежать прямо по-над арочным строением, собранным из синего волнистого, как шифер, пластика).

— Давайте сменим, но все же как вас звать-величать? — спросил я как можно мягче, чтобы настаивание не выглядело грубым.

— Конечно, я сам виноват... но на вашем месте, Митя, при ваших галлюцинациях я бы удовлетворился люмпен-интеллигентом... Опасаюсь, что мои имя и фамилия подтолкнут вашу фантазию на глупость.

Он стоял, полуобернувшись ко мне, как будто бы в том же буровато-мышинном комбинезоне, но теперь не плюшевом, а нутриевом, с шетинистыми топорщичками на локтях и коленях. Особенно на коленях, я держал их в поле зрения точно так же, как и его сапожки (забавляясь, он следил ими на сугробе). Теперь я хорошо видел: голубоватые и маленькие, они ничем не походили на копыта. Обычные сапожки на толстой платформе и высоких каблуках.

— Нет-нет, ничего, прошло, — сказал я, имея в виду свои галлюцинации. — Итак, что же?.. Кстати, мне говорили, что напротив строящегося кинотеатра (стало быть, казино) стоит пивной бар «Свинаячья лужа». Очевидно, ещё далеко?..

— Наоборот, — ответил мужчина в годах. — Пройдёте по тропке по-над арочным строением, а когда завернёте за угол — очутитесь на Льва Толстого, там сразу и увидите казино, его нельзя не увидеть, и днём и ночью в огнях, как теплоход в круизе.

Он пригласил меня красноречивым жестом на тропинку и, пропуская, отошёл от сугроба. Я опять обомлел: сквозь меня словно бы прошло горячее испепеляющее дуновение. Весь сугроб был ископачен, именно ископачен. Если бы я не знал, то есть самолично не видел, что по сугробу, забавляясь, ходил сапожок люмпен-интеллигента, не задумываясь, решил бы, что на нём потопталось какое-то увесистое парнокопытное. Да-да, увесистое — так глубоки и отчётливы были раздвоенные следы.

Преодолевая скованность и чтобы не упасть от внезапного приступа тошноты, я вынужден был опереться о стену строения.

— А вы, Митя, страшно истощены и голодны. И хотя вы против литературы и искусства, отзывающихся на сиюминутное или «злобу дня», всё же «голод не тётка», и вы спозаранку отправились в «Свинаячью лужу» с одной надеждой — перекусить. У вас на груди, под свитерком, папочка со стихами, действительно «нетленками», но ещё вчера вы и думать не думали (во всяком случае, всерьёз) продавать их, а ныне?! Да, бывает — сиюминутное так цепко схватит

за горло своей костлявой рукой, что хоть караул кричи, о вечном и подумать некогда.

Он неслышно подошёл ко мне и, мягко взяв за руку (точно так же, как прежде в автобусе), неожиданно страстно зашептал на ухо, что готов хоть сейчас купить мою люмпен-крылатку. Обещал большие деньги — тридцать унций золотом или по курсу лондонской биржи ровно девять тысяч американскими долларами.

— Ни в коем случае, — сказал я оскорблённо. — Никогда она не была «люмпен-крылаткой» — гайдаровской, шоковой, но чтобы «люмпен...» — никогда! Понимаете — ни-ко-гда!..

Я увидел на ворсинках нутриевого меха удивительной красоты мерцающие искорки. А на своем плече (на крылатке) массивную серебряную пряжку с голубым сапфиром. Вспыхивающие на нём лучи света наполняли мой мозг лучезарной утренней ясностью, я отчётливо видел ангелов, проницающих и скользящих в этом необыкновенном свете.

— Ни за что не соглашусь с сиюминутным ещё и потому, — сказал я, — что по своей сути оно непоследовательно, а непоследовательность — смерть всему, в том числе и литературе, и искусству.

Я оторвал взгляд от сапфира. Я надеялся увидеть на руке люмпен-интеллигента голубые живые искорки. Каково же было моё удивление, когда его самого увидел я на прежнем месте, на наезженной дороге возле сугроба. Чувствовалось, что люмпен-интеллигент не подходил ко мне, его копыта увязли бы на тропке.

— Вам что, плохо? — спросил он достаточно громко, то есть в соответствии с расстоянием, чтобы я услышал.

— Нет-нет, нормально... А вы что же... более не составите мне компанию?

— Разве... чтобы закончить наш разговор?

Он шагнул на тропку и шёл по ней, медленно приближаясь, и всё было хорошо (он не проваливался и не увязал в снегу). Признаки тошноты внезапно улетучились, а вместе — и мое недомогание.

— Итак, всё же вы не ответили: что случится с нами или любым другим народом, который, вместо того чтобы стать братьями по разуму, именно как с инопланетянами, передерётся друг с другом? Тем более что сиюминутная выгода, как вы верно заметили, вполне может стать сердцевиной увлекательной сиюминутной культуры, а стало быть, идеологии.

Я хотел пропустить люмпен-интеллигента вперёд, но потом передумал. Задавая очередной вопрос, мне пришлось бы, чего доброго, хватать его за хлястик или обгонять по снегу. Уж лучше буду оглядываться, решил я. Кстати, теперь, когда в моей голове окончательно прояснилось, он опять был в пальто из великолепного тёмно-серого ворсистого драпа. (Точь-в-точь из такого мне пошла пальто соседка Тома. Я даже пожалел, что в своё время не примерил

его. Во всяком случае, мысль была: уж не в моём ли он пальто?)

На мой вопрос люмпен-интеллигент ответил не сразу. Довольно долго собирался с мыслями, наконец сказал, что, по его мнению, любой народ, в котором притуплено или утрачено национальное чувство, склонен к революциям и гражданским войнам, то есть к самоистреблению. И следовательно, такой народ обречён и просто обязан быть навозом, удобрением для других народов, не утративших своего национального чувства.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Договорились! — в сердцах воскликнул я.

Некоторое время мы шли молча (я слышал позади себя скрип снега).

— В таком случае кто даст гарантию, что призывы к общечеловеческому не есть призывы к самоистреблению?! Кто даст гарантию, что они не есть провокация — некое указание другим народам поправить свое положение, так сказать, за счёт утративших национальное чувство?

Тропка сворачивала за угол арочного строения, на улицу Льва Толстого.

— Кто даст гарантии?! — горячо повторил я и оглянулся.

Сзади меня и вообще вокруг никого не было. Вот уж действительно прав классик — никогда не разговаривайте с неизвестными.

## Глава 28

«Свинячья лужа» встретила кумачовым транспарантом, натянутым через все три киоска. На транспаранте были мои стихи. Написанные в две строки, они воспринимались как трепещущие на ветру лозунги. Я почувствовал как бы дуновение праздника: МИРУ — МИР!..

НАШ ПУТЬ ВСЕ УЖЕ, УЖЕ, УЖЕ,  
НО ЭТО, БРАТЦЫ, НЕ БЕДА.  
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЬЁТ В «СВИНЯЧЬЕЙ ЛУЖЕ»,  
ОН РАСШИРЯЕТСЯ ВСЕГДА.

Когда я перешёл улицу и очутился возле киосков, ощущение праздника усилилось. Виной был стол, густо уставленный пивными кружками, бутылками и стеклянными банками. Неестественно длинный, накрытый грязного цвета клеёнкой, он тем не менее казался свадебным посреди снега, точнее, снежной белизны. Меня поразило присутствие милиционера возле щитов из штакетника, которыми был огорожен дворик. Впрочем, это потом уже я увидел его, курсирующего взад-вперёд по периметру так называемого летнего бара, а тогда я не мог оторвать взгляда от здания казино. Розоватое, многоцветно сияющее иллюминацией, оно царило в глубине сквера, будто сказочный дворец. В просветах между деревь-

ями стояли припаркованные машины, в основном иномарки. Даже сквозь пыльцу изморози на никеле бамперов солнце выедало глаза.

«Блеск и нищета куртизанок» — какая-то чужая страна! — подумалось отстранённо, и неожиданно вспомнил о люмпен-интеллигенте, предупреждавшем, что таким, как я, путь в казино навсегда заказан.

Заказан и заказан, подумаешь, напугал! Мысль ещё только овладевала сознанием, а на меня вдруг навалился страх, страх отчуждённости и непосильного одиночества. Не нужны мне ни казино, ни иномарки, ничего не нужно! Верните мне мою страну... Не по щучьему велению, а по велению какого-то Кошеша Бессмертного оказался я в совершенно другой стране... Иванушка был добр сердцем, а потому — мудр. А Кошей?! Чем более умен злодей — тем более опасен и ненавистен...

— Слушай, Лёха-мент, позови вон того, что в байковом одеяле, — услышал я голос, очень похожий на голос Двуносого, но более самоуверенный и властный.

Я нарочно как стоял, так и стоял, не пошевелился.

Подошел милиционер, остановился напротив — сопляк, но здоровенный, загородил и казино, и солнце, и вообще весь белый свет.

— Вас зовут.

— Кто?! Кто имеет право вас, милиционера, называть «ментом»?

— Генеральный директор летнего бара, — удивлённо сказал Лёха-мент и совсем уже растерянно посмотрел поверх моей головы в сторону директора.

Не знаю, что там такое он увидел, но сейчас же повел плечами, поправил портупею под овчинным воротником тулупчика и тоном, не терпящим возражений, приказал:

— Гражданин, следуйте за мной!

Я последовал, потому что этот милиционер в тулупчике, сам того не ведая, вернул меня в родную страну. Ведь это только у нас в России могут быть летние бары зимой!

Проходя мимо гудящего стола, мой «конвоир» намётанным движением снял с него пустую полулитровую банку и так же намётанно «ополоснул» в снегу. (Дворники не пошадил летнего бара — дорожки как траншеи.)

— Алексей Филактич, ещё одну с подогревом, — сказал милиционер просительно и тут же построжел, не оглядываясь, кивнул назад, уверенный, что я непременно следую за ним. — С этим что будем делать?

Боже мой, российское холуйство! Он действительно мент, самый настоящий мент!

Алексей Филактич оказался Алексеем Феофилактовичем.

— Смотри, Лёха, допрыгаешься, ещё хоть раз исковеркаешь мое отчество — не только подогретого, а вообще никакого пива не получишь! Да-да, никакого, и начальник твой не поможет!

Алексей Феофилактович стоял у двери в киоск точно шкаф, выставленный на улицу, — таким объёмно-громоздким и брошенным казался он в лисьей шубе.

— В переводе с греческого Феофилакт означает — Богом хранимый. Слышите?! Богом!.. А не какими-то там ментами.

Алексей Феофилактович, видимо, упарился, снял меховую шапку и, повернувшись ко мне, стал подвязывать клапаны.

Да, удивительным было, что Алексей Филактич оказался Алексеем Феофилактовичем, но ещё более удивительным, что — Двуносым, то есть генеральным директором летнего бара.

Конечно, мы особо не челомкались. Как водится, разок обнялись. Напяливая шапку, Двуносый крикнул, чтобы принесли четыре кружки пива, обязательно подогретого. На правах хозяина, чтобы не месьить грязный снег, отодвинул щит и прямо через сугроб повёл к столу.

— Что касается меня, — сказал я, — мне достаточно одной кружки и, если есть, плитки любого дешёвого шоколада.

Относительно пива Двуносый не отменил заказа, а за шоколад оскорбился:

— Обижает, поэт?!

Оглянулся и уже в спину Лёхе-менту:

— Захвати два «сникерса»!

Мы сели во главу стола (нам услужливо поставили ящики, которые, очевидно, для подобного случая приберегались под столом). Двуносый, воистину как генеральный директор, оглядел присутствующих, столовским ножом постучал по пустой трёхлитровой банке, выждал, пока на «Камчатке» утихомиряются (там спорили, в каком пиве больше градусов: в холодном или подогретом?), объявил:

— Сегодня у нас памятный день...

Лёха-мент почти бегом поднес четыре кружки пива. Без пены оно парило, точно горячий бульон.

— Алексей Фил... — Двуносый напрягся, присутствующие притихли. Лёха-мент вместе со «сникерсами» вынул из кармана клочок бумаги и, не таясь, в открытую прочитал по слогам: — Фе-о-фи-лак-тович! — Пояснил: — Это... чтобы присутствующие не коверкали.

За столом одобрительно загудели. Двуносый, ухмыляясь, подал одну из кружек Лёхе-менту:

— За находчивость!

— За находчивость! — отозвалось застолье.

Получилось что-то вроде импровизированного тоста. Грех было не выпить. Мы выпили. Я — одним духом — почти полкружки! Выпил и поплыл, то есть не поплыл, конечно, а опьянел. Поначалу даже не понял, почувствовал в животе некоторое жжение, стал заедать «сникерсом» (Двуносый нарезал тонкими аккуратными пластинками). Потом по всему телу приятное тепло разлилось, и такая лёгкость появилась в общении, взаимопонимании, оценках, словно

вот только что стал выпускником какой-то самой главной академии на всём земном шаре.

Запомнилось, как Двуносый представил меня застолью:

— Вы все здесь сидящие пьете пиво с таранькой, а Дмитрий Слёзкин (прошу обратить внимание) со «сникерсом». А почему?.. Да потому, что мы с вами простые люди, серийного производства, а посмотрите, как Митя одет? Митя — товар штучный, можно сказать, ювелирный, как яйцо Фаберже. Он — поэт!!!

НАШ ПУТЬ ВСЕ УЖЕ, УЖЕ,  
УЖЕ, НО ЭТО, БРАТЦЫ, НЕ БЕДА.  
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЬЁТ В «СВИНЯЧЬЕЙ ЛУЖЕ»,  
ОН РАСШИРЯЕТСЯ ВСЕГДА.

Безусловно, аплодисменты, чоканье, поцелуи. На «Камчатке» затянули «Славное море священней Байкал...». Мне было и совестно, и приятно. Но всё же больше совестно — ну какое я яйцо, тем более драгоценное?! В общем, в расстройстве чувств под «сникерс» допил пиво, уже собрался вставать из-за стола, и тут мне пододвинули ещё кружку.

Слово опять взял Двуносый.

— Побратимы! (Почему побратимы? Бог весть!) Знаете ли вы, дорогие побратимы, что в Байкал впадает триста тридцать шесть рек, а вытекает всего одна — Ангара?.. Вот и нас триста тридцать шесть побратимов. (Откуда?! Нас присутствовало не более семнадцати—восемнадцати.) Вы слышите, какая большая цифра — мы! А Митя, как Ангара, всего один наш представитель. И он пришёл к нам, чтобы поздравить нас, потому что сегодня ровно три месяца, день в день, как наш летний бар под открытым небом живёт и здравствует. Ура, побратимы!..

На «ура!» никто не отозвался, наоборот, присутствующие как будто перестали слушать Двуносого (принялись стучать таранькой, обминать о край столешницы). Но Двуносый потому, наверное, и стал генеральным директором бара под открытым небом, что обладал непревзойдённым чутьем. Он не закончил речь, это была только пауза, после которой, не акцентируя, совершенно обычным голосом, словно подобное случалось едва ли не каждый день, сказал:

— А сейчас, побратимы, многоуважаемый наш поэт от Фаберже Дмитрий Слёзкин спонсирует каждому из нас по три бутылки или кружки пива (кто как хочет). Все это, так сказать, в честь нашего процветания.

Застолье вздрогнуло, воздух над двориком сотрясло дружное «ура!», начались чоканье, поцелуи, шум, гам, словом, братание трехсот тридцати шести побратимов.

Во время этого братания я спросил Двуносого, как понимать его? В ответ он вначале утонул, спрятавшись в своей «лисе», а потом важно так выдвинулся из мехового сугроба (ну не Крез, конечно, но ку-



пещ — первостатейный) и объяснил, что с момента нашей встречи он задолжал мне за рекламное стихотворение (считая только выходные — субботы и воскресенья) тридцать полных рабочих дней, а тридцать, помноженное на четыре обещанных кружки пива, составляет шестьдесят литров или, что одно и то же, сто двадцать кружек.

— Все нормально, — сказал Двуносый и озабоченно поделился: — Приспело отдать долг, чувствую, что скоро придётся расстаться с названием «Свинаячья лужа».

Естественно, нам не дали побеседовать: побратимы очень бурно потребовали спонсируемые бутылки. А некто чёрный и волосатый (я узнал его, мы вместе ехали в автобусе) стал, точно в припадке, биться головой о стол и кричать, что за три бутылки он кому хошь пасть порвёт. При этом он так свирепо взглядывал на меня и так разъяренно скрежетал зубами, что ошибиться в его намерениях было просто невозможно.

— Ладно, Реня, хватит блажить, — осадил Двуносый и пообещал, что через минуту-другую директоры «комков» бесплатно отоварят конкретно каждого из присутствующих.

Действительно, появились бывшие друзья Двуносого по общежитию, в белых халатах и каких-то расширяющихся кверху колпаках хлебопёков. Даже телохранитель Тутатхамон был в белом колпаке. Все они, горбатясь, несли по ящику с пивом.

Большинство побратимов выскочило из-за стола сразу, оставшиеся наспех допивали пиво, перешагивая через длинные скамейки.

Лёха-мент, сейчас же сообразивший — началось!.. — бросился ораве наперерез. Он угрожающе кричал, что пусть только кто попробует дотронуться до пива!

Резвая волна побратимов лихо смела переносной заборчик, но тут же и захлебнулась. Подскочивший Лёха-мент и Тутатхамон-сантехник сторяча едва не уложили друг друга, наконец вместе с директорами «комков» заняли круговую оборону. Всякий подбегавший получал такого сильного тумака в ухо, что непременно падал или удивлённо садился на снег. Единственный, кто прорвался сквозь оборонительный заслон, был синюшно-чёрный и нестерпимо волосатый Реня. Схватив ящик, он, точно снежный человек, перепрыгивая через сугробы, побежал за киоски. За ним кинулось человек пять побратимов.

— Пусть бегут, — остановил Двуносый Тутатхамона. — На шесть человек только по норме пива и достанется.

— Во-о голова-а! — простонал сантехник-телохранитель, и многие из лежащих приподняли облепленные снегом лица, чтобы посмотреть на Двуносого.

Двуносый скептически усмехнулся и, как ни в чём не бывало, поднял кружку, предложил выпить на брудершафт. Конечно, стеклянные полулитровые

кружки — это не рюмки. Половину содержимого я вылил себе на грудь и в меховой рукав Двуносого.

Он крикнул своим соратникам, чтобы нам принесли ещё по кружке. Нам принесли, мы повторили мероприятие, причём на этот раз так успешно, что, осушив бокалы, не пролили ни капли.

Постепенно застолье возобновилось. Говорю «постепенно» потому, что со второго бокала на брудершафт возникло чувство, будто я закончил ещё одну академию. Во всяком случае, земля покачнулась и последовательность происходящего совершенно утратилась.

Я читаю стихи. Низкое солнце светит в затылок. Стол раздавлен моей тенью, но лица присутствующих светятся, словно электрические лампочки.

— Слушайте, побратимы, вам про любовь рассказывают!

Двуносый стучит ножом по пустой трёхлитровой банке. В ней, как в увеличительном стекле, растягиваясь, сминаются лица.

Скрип снега: подводят патлатого Реню в чёрной собачьей дохе. Сзади на вывернутых руках — Лёха-мент и Тутатхамон-телохранитель.

— За что?! — возмущённо спрашивает Реня и требует: — Пустите!

Двуносый кивает на меня:

— Если только — Митя, он спонсировал.

Мент и Тутатхамон отлетают в разные стороны. Реня падает на колени, воздев руки к небу:

— Спонсор, мы же в одном автобусе ехали?!

Я смотрю на запрокинутое безутешное лицо Рени и вижу, что один глаз у него заплыл, а в другом, тёмно-фиолетовом, отражается я и он. (Мне это не кажется странным.) Реня идет полуфертом, то есть одной рукой подбоченясь, а другую поднял, словно приготовился плясать вприсядку. Но плясать вприсядку он не может потому, что теперь на поднятой руке у него сажу я, поэт Дмитрий Слёзкин. Я читаю стихи. За пазухой у меня папка «нетленок», которые намеревался продать, но теперь, когда Реня торопливо несёт меня вокруг длинного стола, я, пользуясь случаем, вынимаю их и швыряю над столом в воздух.

— Да здравствует Король Поэтов! — имея в виду себя, кричу я.

— Да здравствует спонсор! — кричат побратимы.

Подхваченные лёгким ветерком, белые листы, разлетаясь, кружатся, парашютируют, от их обилия рябит в глазах. Лиловый зрачок погас, сиреневое пятнышко потускнело...

\* \* \*

И вот уже я стою возле киосков. Со стороны казино появляются богато одетые люди. У них хорошее настроение, они в выигрыше. Особенно заметен плотно сбитый мужчина в пыжиковой шапке и прервосходной дублёрке. Рядом с ним красавица в кожаном пальто. Воротник пальто из ламы, а на голове у

**Главный редактор**

Юрий Вильямович Козлов

**Генеральный****директор**

Елена Петрова

**Художественный****редактор**

Татьяна Погудина

**Цветоделение****и компьютерная****верстка**

Александр Муравенко

**Заведующая****распространением**

Ирина Бродянская

Отпечатано

в АО «Красная Звезда»

Россия, 125284, Москва,

Хорошёвское шоссе, 38

тел. +7(499) 762-63-02,

факс +7(495) 941-40-66

e-mail: kz@redstar.ru,

www.redstarprint.ru

Подписано в печать:

27.04.2024

Тираж 1430 экз.

Уч.-изд. л. 10,0.

Заказ № 1432-2024

**Адрес редакции:**

Россия,

107078, Москва,

Новая Басманная, д. 19

**Телефоны**

редакции:

8(499) 261-84-61

8(499) 261-49-29

отдела распространения:

8(499) 261-95-87

**E-mail:**

roman-gazeta-1927@yandex.ru

**Сайт:**

www.roman-gazeta-1927.ru

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Отклоненные рукописи

сохраняются в течение года.

красавицы бордовая пуховая чалма. Снежинки на ней огнисто вспыхивают, будто она осыпана самоцветами.

От периметра летнего бара скользящей тенью отделился Лёха-мент, подбежал к плотно сбитому мужчине, отрапортовал: на вверенном ему объекте...

Мужчина снял перчатку, поздоровался с Лёхой за руку и тут же позабыл о нём. Другие пыжиковые шапки сейчас же оттеснили Лёху куда-то назад.

Появился Двуносый со своими директорами «комков» и телохранителем. Остановились в отдалении, словно нашкодившие дворняжки, — заметит хозяин или нет?!

— И все же заглавная здесь она, е-ё он у-бла-жа-ет! — сказал я и пропел вслух потому, что сразу узнал и начальницу железнодорожных перевозок, и начальника железнодорожной милиции.

Чтобы никаким образом не заприметили, что я — я, нахлобучил на голову капюшон с подшитой внутри подушкой, отвернулся, стал смотреть в другую сторону. Всем своим видом показывал, что никакого отношения к разбросанным «нетленкам» не имел и не имею. Просто стою у киосков, ем «сникерс».

Мужчина в дублёнке легко наклонился, поднял белый лист, пробежал глазами, подозвал Двуносого. Тот подлетел как на крыльях.

Потом они разговаривали, поглядывая на меня.

Запыхавшись от рвения, прибежал Тутатхамон:

— Сколько просишь за стих?

— Какой именно? — спросил машинально, но Тутатхамон уже побежал назад, к разговаривающим.

Кстати, побежал как бы врассыпную — в свете электрических лампочек его тень действительно разбежалась во все стороны. Я крикнул Тутатхамону, что не надо ничего узнавать — любое стихотворение дарю бесплатно.

Начальник не принял подарка, дал через Двуносого пятьдесят долларов. А когда стихотворение прочла начальница перевозок, Двуносый с видом медицинского светила доверительно поведал ей, что я пишу день и ночь, что мне даже поесть некогда — талант, поэт от Фаберже!

При чём тут Фаберже?!

В заключение, как и подобает медицинскому светиле, полагаясь как бы исключительно на порядочность начальницы, вполне конфиденциально сообщил (так сказать, рассекретил диагноз):

— Кожа и кости, скоро с голодухи пухнуть начнёт.

— Господи, не понимают у нас талантов, не понимают! Да ему при жизни надо ставить памятник!

Она немножко всхлипнула, но не обо мне, конечно, а обо всех русских талантах. И вот тут начальник отстегнул ещё пятьдесят долларов и конкретно сказал Двуносому, чтобы не дал мне помереть. А иначе... Что иначе?! Во всяком случае, Двуносый пообещал, что разобьётся в лепёшку, но помереть не даст...

И ещё эпизод. Директоры «комков» несут меня через вестибюль общежития, и вдруг Алина Спиридоновна замечает, что на одной ноге у меня нет финского сапожка. Как по команде, меня роняют и все бегут на улицу, чтобы остановить такси, наверняка сапожок сзади за сиденьем.

...И уже я в комнате, меня кладут на широкую, как полати, кровать. Двуносый даёт указание, чтобы картонные ящики с продуктами задвигали под неё.

— Надо же, напился до бесчувствия, а ещё поэт, — осудил Тутатхамон, но его не поддержали.

— Много ли ему надо? — вступился за меня Двуносый и неожиданно восхитился: — Ты смотри, с какими большими людьми знаком Митя! Теперь его стихи расхватывают, а заодно и к нам большие люди наведуются!

Он потёр руки, и это было последним, что осталось в памяти. Впрочем, нет — остался ещё часто повторяющийся сон, но о нём после.

2000 г.

# К строительству храма на родине поэта Николая Мельникова

В 2006 году, в день памяти первоучителей славянских равноапостольных Кирилла и Мефодия, перестало биться сердце русского поэта Николая Мельникова. Ему не было и тридцати, когда за своё стихотворение-песню «Поставьте памятник деревне» он стал первым лауреатом литературной премии имени Алексея Фатьянова. «Да это уже хрестоматия!» — воскликнул Сергей Михалков, когда услышал стихотворение в авторском исполнении. Апофеозом же его творчества стала пронзительная по своей искренности поэма «Русский Крест» — Поэма-Боль, Поэма-Крик, Поэма-Вдохновение...

Земной путь Николая закончился в сорок лет, а вот путь поэта в истории литературы только начался.

Кто-то из паломников привёз поэму схиигумену Илию в Оптину пустынь. И старец, прочитав её, решил непременно познакомиться с автором. Он пригласил Николая к себе и на протяжении нескольких лет окормлял и поддерживал его.

О поэме старец говорил: «Не следует рассматривать "Русский Крест" как историю одной деревни. Это поэма обо всех нас, в безверии погибающих и из руин возрождающихся».

\* \* \*

Русский дух поэмы «Русский крест» побудил нас на строительство Церкви. По инициативе родных и односельчан, в память о творчестве брата, решили восстановить разрушенный до основания в годы Советской власти храм Успения Пресвятой Богородицы. Создали приход, меня избрали председателем церковно-приходского совета. Получила благословение на строительство храма старца мона-



стыря Оптиной пустыни схиархимандрита Илия.

У нашего села очень большое желание увидеть поскорее новый храм, но, к сожалению, мы не потянем в одиночку это строительство, так как возможности наши нищенские. Приходится стоять с ящиком и просить на храм, мне не стыдно, но я инвалид первой группы, передвигаюсь на костылях, мне это сложно физически.

И тем не менее, слава Богу, дело понемногу продвигается, хотя и очень медленно собираем по рублю... При разборке старого фунда-

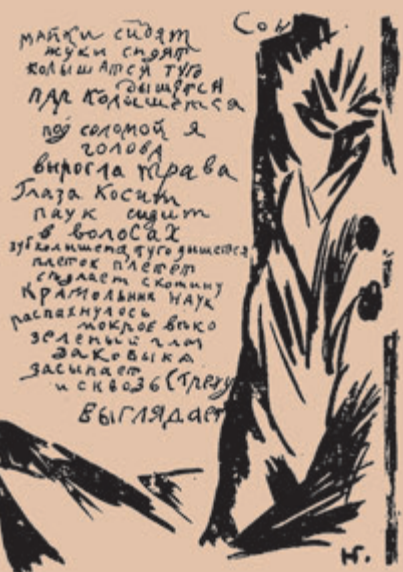
мента нашли в алтарной части медную табличку, заложенную нашими прадедами в 1840 году, 30 октября по новому стилю, но, что самое примечательное, нашли мы её ровно через 170 лет, день в день!

Просим всех желающих принять участие в нашем строительстве, так как восстановить храм было заветной мечтой Николая Мельникова, поэта, писателя, дорогого моего брата!

*Валентина Шаронова  
сестра Николая Мельникова,  
с. Лысье, Злынковский район,  
Брянская область*

## Банковские реквизиты счёта

Организация	Местная религиозная организация православный приход храма в честь успения Пресвятой Богородицы с. Лысье Злынковского района Брянской области Клинцовской епархии русской православной церкви (Московский патриархат)
ИНН	3241007897
КПП	324101001
Расчётный счёт	40703810969020000027
Банк	БРЯНСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ИНН банка	7725114488
КПП банка	325731001
БИК	041501747
Корр. счёт	30101810500000000747



КЛЕВНИКОВ  
**КУЗНЕЧИК**

Кузнечик Золотоплоский  
 Монтанский Жил,  
 Кузнечик в Кузов туго дрибал  
 Крайнейших много стран и остр.  
 И Мимь, пип, гич! — парражнуа Зилити  
 О, лебедевю!  
 О, озари!



**МАЯКОВСКИЙ — РОДЧЕНКО**

**К Л А С С И К А**

**К О Н С Т Р У К Т И В И З М**

**К Л А С С И К А К О Н С Т Р У К Т И В И З М А**